

Тайна высокого дома

Автор:

Николай Гейнце

Тайна высокого дома

Николай Эдуардович Гейнце

«На дворе стоял май 188... года.

Весна всюду праздновала победу над суровой сибирской зимой. Ласковой теплотой разбила она ледяные оковы земли.

Реки вскрылись, и груды нагроможденных друг на друга рыхлых льдин уже давно пронеслись по ним к полюсу – в царство вечного льда...»

Николай Эдуардович Гейнце

Тайна высокого дома

Часть первая

Дочь убийцы

I

Таинственная заимка

На дворе стоял май 188... года.

Весна всюду праздновала победу над суровой сибирской зимой. Ласковой теплотой разбила она ледяные оковы земли.

Реки вскрылись, и груды нагроможденных друг на друга рыхлых льдин уже давно пронесли по ним к полюсу – в царство вечного льда.

Тайга, этот девственный сибирский лес, давно, впрочем, оскверненный присутствием алчного человека, ожила, приделась в зеленый весенний наряд; там и сям между деревьями потекли мутные желтоватые ручьи, размывая золотоносную почву, и их шум сливался с шелестом деревьев в одну гармонию приветствия голубому, ясному небу.

«Заимка» к-ского первой гильдии купца Петра Иннокентьевича Толстых лежала верстах в двухстах от губернского города К., находящегося, выражаясь языком нашего законодательства, в отдаленнейших местах Сибири.

Впрочем и без предыдущих пояснительных строк самая фамилия владельца «заимки» делала ясным для читателя, что место действия этого правдивого повествования – та далекая страна золота и «классического Макара», где выброшенные за борт государственного корабля, именуемого центральной Россией, нашли себе приют разные нарушители закона, лихие люди, бродяги, нашли и осели, обзавелись семьей, наплодили детей, от которых пошло дальнейшее потомство, и образовали, таким образом, целые роды, носящие фамилии Толстых, Гладких, Беспрозованных, Неизвестных и тому подобных, родословное дерево которых, несомненно, то самое, из которых сделана «русская» скамья подсудимых.

«Заимками» в Сибири называются разбросанные там и сям на ее необозримом пространстве хутора, стоящие вдали от селений.

Кругом избы, двора с крепкими тесовыми воротами и высоким забором, за которым находится надворная постройка, идет огороженный невысоким тыном огород и сад – пчельник; далее же лежат пашни; их площадь не определена, сколько сил и зерна хватит, столько и сеют – земли не заказанные, бери – не хочу. Занял то или другое количество десятин – все твои, отсюда и слово

«заимка».

Такова общая физиономия сибирских заимок.

Заимка Толстых, впрочем, отличалась от прочих.

Она стояла не遠далеке от тайги, близ обширных, принадлежащих Петру Иннокентьевичу, приисков, а самая постройка дома, где за последние два десятка лет почти безвыездно, кроме трех-четырёх зимних месяцев, жил семидесятилетний хозяин, отличалась городской архитектурой, дом был двухэтажный, с высоким бельведером и высился над остальными постройками и казармами для присковых рабочих, окруженный прекрасным садом, на высоком в этом месте берегу Енисея. По далекой окрестности до самого губернского города К. он слыл под прозвищем «высокого дома».

Кругом обширного пространства, занятого заимкой и присками Толстых, разбросаны были избышки крестьян-приискателей.

Все дышало таинственностью на заимке Петра Иннокентьевича, начиная с образа жизни ее хозяина.

Он лишь изредка покидал свою комнату. Видимо было, что какое-то несчастье, несмотря на его богатство, тяготело над ним. Его лицо, состарившееся скорее от внутренних душевных страданий, нежели от преклонности лет, красноречиво подтверждало это.

Сгорбившаяся, еле волочащая ноги, но до сих пор атлетически сложенная фигура указывала, что одно время не могло осилить такого железного организма, а старожилы окрестностей и города К. утверждали, что старик Толстых вел и в молодых годах скромную жизнь, не предаваясь излишествам, которые могли бы истощить его крепкую натуру.

Многочисленная прислуга заимки шепотом передавала, что уже несколько лет, как хозяин почти целые ночи проводит без сна, а если заснет, то его, видимо, мучают ужасные сновидения – он вскакивает, обливаясь потом, и в этих полупросонках ему кажется, что комната его наполняется грозными привидениями. Он узнает в них давно сошедших в могилу людей.

Один с простреленной грудью, из раны которого течет столько крови, что кажется затопит всю комнату, другой в арестантской шапке на полуобритой голове смотрит на него с упреком и задает ему роковые вопросы.

Тут же видит он открытый гроб, в котором покоится полусгнившее тело, с искаженными чертами почерневшего лица, на котором он читает роковое слово: убийца.

Все это можно было заключить из бессвязного, полубессознательного бреда, которым сопровождается краткий, мучительный сон, или скорее забытие несчастного богача.

Все эти терзавшие Петра Иннокентьевича муки передавал он лишь своему служащему и другу, который вел все громадное приисковое дело, Иннокентию Антиповичу Гладких. Это был высокий старик, с добродушным, открытым лицом и длинною, седою бородою, однолесток Толстых, но еще бодрый и сильный, казавшийся несравненно моложе своих лет. Глядя на его коренастую фигуру, невольно приходила на память русская поговорка: «не ладно скроен, да крепко сшит».

Ему и понятным лишь для него языком Петр Иннокентьевич порой задавал мучающие его вопросы:

– Где моя дочь? Где моя дочь?

Гладких низко опускал долу свою как лушь седую голову и неизменно отвечал:

– Не знаю! С тех пор, как я видел ее последний раз в К., прошло уже много лет. Она исчезла вместе с ребенком. Я разыскивал их долго, но безуспешно. Что с ними случилось и где они – я не знаю.

Петр Иннокентьевич в отчаянии рвал на себе волосы. Он готов был отдать все свое богатство за один лишь миг свидания со своей исчезнувшей дочерью, но слова Гладких: «Что с ними случилось и где они – я не знаю» – похоронным звоном отдавались в его ушах.

Иннокентий Гладких, как мы сказали, вел все дело – он уже в течении двух десятков лет считался полновластным хозяином приисков и за эти годы почти удвоил колоссальное состояние Петра Иннокентьевича. Он был молчалив и не любил распространяться о прошлом, и, таким образом, тайна заимки Толстых находилась в надежных руках.

Догадки, построенные на сообщении слуг о бессвязном бреде настоящего хозяина заимки, с которыми мы познакомили наших читателей, не могли удовлетворить любознательность окрестных жителей и жителей города К.

Подробные расспросы их, впрочем, не вели ни к чему – тайна заимки оставалась не раскрытой уже два десятка лет – взрослые того времени перемерли, а дети стали теперь взрослыми, но ничего не помнят из их раннего детства и на допытывания любопытных указывают лишь на одно место около сада Толстых, говоря:

– Здесь было совершено убийство.

Ничего большего разузнать невозможно.

Кроме двух стариков в высоком доме жила молодая девушка – вторая дочь Петра Иннокентьевича – Татьяна Петровна. Ей шел двадцать первый год, но на вид никто не дал бы ей более шестнадцати – ее тоненькая фигурка, розовый цвет лица, с наивным, чисто детским выражением не могли навести никого на мысль, что она уже давно взрослая девушка-невеста.

Золотистая коса оттягивала несколько назад миниатюрную головку, а большие голубые глаза дышали такой чистотой и доверием к людям, что человек с мало-мальски нечистой совестью не мог выносить их взгляда без внутреннего раскаяния.

Такое действие производила она на беззаветно любивших ее слуг и даже на поселенцев – приисковых рабочих.

– Так ей в ноги бухнуться и тянет, да во всем покаяться, в душу так и глядит, словно ангел Божий, и все твое нутро переворачивает! – говорили о ней последние.

Петр Иннокентьевич любил ее, но какою-то порывистою, неровною любовью, которая причиняла ему порой жгучее страдание.

Положительно боготворил свою ненаглядную Танюшу и ее крестный отец Иннокентий Антипович.

II

Племянник

Татьяна Петровна с наступлением весенних дней большую часть дня проводила вне дома, то в садовой беседке, то гуляя по берегу катящего быстро свои волны многоводного Енисея.

Изредка она гуляла с отцом, чаще с «крестным», как она звала Иннокентия Антиповича, в большинстве случаев – одна.

В день, с которого начинается наш рассказ, она, по обыкновению, утром вышла в сад, одетая в простенькое платье из серой материи и круглую широкополую шляпу из русской соломы.

Не успела она сделать несколько шагов, как ей навстречу попался молодой человек, высокого роста, довольно красивый, если бы выражение его правильного лица, обрамленного каштановыми волосами, с такой же маленькой пушистой бородкой, не было бы пронырливо-хитрым и взгляд, глядящих исподлобья, карих глаз не блеснул бы порой каким-то стальным, отталкивающим блеском. Маленькие усики оттеняли толстые чувственные губы; одет он был в длиннополый черный сюртук и сапоги бураками, а черный картуз был надвинут на голову несколько набекрень.

– Гуляете, Танюша? – вкрадчиво улыбнулся он.

– Да. Не видали ли вы крестного?

– Он, кажется, в приисковой конторе...

– В таком случае я подожду его...

– Хотите пройти со мной, я провожу вас, куда вы пожелаете.

– Нет, спасибо, если я не дождусь крестного, то пойду одна.

Молодой человек закусил нижнюю губу, и его глаза блеснули стальным блеском.

– Что вы имеете против меня, Танюша? Я давно замечаю, что я для вас хуже всякого рабочего-поселенца, а, между тем, я все же вам несколько сродни.

– Я знаю это... Но что же в моих словах нашли обидного?

– Ничего... – сквозь зубы вымолвил он, – но только вы меня не любите.

– Я люблю всех, Семен Семенович... – просто отвечала Таня.

– Но вы не солжете... Ведь я вам не нравлюсь?..

– Кто сказал вам это? Да если бы это было и так...

– Видите ли... вы сознаетесь... А я люблю вас, Танюша, и если бы вы только захотели, если бы вы захотели, то в высоком доме скоро бы отпраздновали счастливую свадьбу.

Татьяна Петровна зарделась, как маков цвет. Она только что хотела ответить, как из-за угла аллеи, у которого они стояли, показался Гладких.

Лицо его было чрезвычайно серьезно.

Он слышал их разговор от слова до слова.

– А, вот и крестный! – бросилась к нему молодая девушка, не обращая более внимания на своего влюбленного троюродного брата.

– Ты пойдешь гулять со мной? – спросила она, бросаясь к нему на шею.

– Нет, сегодня я не могу, ступай одна, моя радость, только не ходи далеко, еще сыро, а мне нужно поговорить с Семеном.

– Ты слышал, что он говорил? – шепнула она Иннокентию Антиповичу.

– Да.

– Так ответь ему за меня. Я лучше весь свой век останусь в старых девах, чем пойду за него, если бы даже он не был моим троюродным братом.

С этими словами она поцеловала старика в обе щеки и вприпрыжку побежала из сада.

Семен Семенович хотел тоже уйти, но Гладких остановил его.

– Нам надо с тобой серьезно потолковать, Семен.

– О чем бы это?

– С некоторых пор ты позволяешь себе лишнее в отношении Татьяны. Мне это не нравится! – строго заметил старик.

– Разве с ней нельзя даже разговаривать? – вместо ответа нахально спросил тот. – Я, напротив, с ней очень вежлив.

– Посмотрел бы я, если бы ты осмелился быть с ней невежливым, твоего духу не было бы здесь ни одной минуты...

Семен побледнел, и нехорошая улыбка перекосила его губы.

– Мне кажется, что мой дядя немножко больше здесь хозяин, чем вы...

– Я очень хорошо знаю, что такое здесь твой дядя, но также хорошо знаю, что такое здесь я. Ты же здесь только младший конторщик, на эту должность я тебя

сюда принял. Советую тебе это помнить. Я говорю теперь тебе это добром, а при следующем лишнем слове, сказанном тобою Танюше, ты соберешь свои манатки и отправишься восвояси в К.

– Не запретите ли вы мне любить ее?

– Берегись, повторяю тебе.

– Но у меня серьезные намерения – я хочу жениться на ней.

– Да она-то не хочет выходить за тебя.

– Это покажет время...

– Не ты... – окончательно рассердившись, захрипел старик, – слышишь ли, не ты и ни кто из тех, кто сватался уже за нее, не будет ее мужем.

– Что мне за дело до других, мне в пору заботиться лишь о себе, и я не вижу причины, почему Таня мне может отказать в своей руке... Мы, кажется, ровня и пара.

– Что ты хочешь этим сказать?..

– То, что у нас с ней у обоих ничего нет, а если она рассчитывает на наследство после моего дяди, то у меня с моим отцом есть еще больше прав на его деньги. Вы не будете, надеюсь, против этого спорить, Иннокентий Антипович.

Последний сверкнул глазами и, скрестив на груди руки, сказал:

– Это, по крайней мере, честно и прямо сказано. Но, милый мой, мне давно ясны расчеты и твоего отца, и твои, ясны с того момента, как ты явился сюда. Твой старик, видимо, рассудил так: Мария исчезла, Мария умерла, значит, высокий дом и все состояние моего двоюродного брата принадлежит мне. Но он боится, что Петр может завещать все маленькой Тане и предусматривает и этот случай. Семен должен жениться на Татьяне. Для этого-то ты и поступил сюда в конторщики. Расчет твоего отца довольно хитер, но к сожалению, не верен, так как Танюша не будет твоей женой, и ни ты, ни твой отец не получите из

наследства Петра ни одного гроша. Слышал?

– Слышал! – подавленным, злобным голосом прохрипел молодой человек. – И вы находите с вашей стороны честным лишить нас наследства?

– Иннокентий Гладких не дает отчета в своих делах никому, кроме Бога.

– Соглашаюсь, что ваши расчеты куда тоньше наших, и разгадать их, может быть, удастся лишь со временем. Вас не прельщают деньги. Я знаю, что вы не жадны до них. Что заставляет вас так покровительствовать дочери каторжника?

Гладких весь побагровел. Черты лица его страшно исказились. Он окинул дерзкого полным непримиримой злобы взглядом.

– Несчастный, – прохрипел он, – замолчи лучше... Еще одно слово, и я не ручаюсь за себя.

– Я кончил! – насмешливо отвечал Семенов и торопливо удалился.

– Гадина! – глухо пробормотал вслед ему Гладких. – Наконец-то ты сбросил с себя личину и показал свои волчьи зубы. Попробуй бороться со мной – я раздавлю тебя. Я буду следить за каждым твоим шагом.

Он медленно вышел из сада и направился на прииск. Там кипела работа, – работа нищих над добычей золота. Роковая несообразность жизни! Золото добыто, но кем и как – зачем знать нам. Нам надо лишь одно – золото.

По московско-сибирскому тракту тянется ряд повозок, окруженных конвоем. Это идет караван с добытым на приисках золотом. В дно каждой повозки вделан ящик с драгоценным металлом.

На монетном дворе это золото превращается в полуимпериалы. В какие красивые стопки укладывается он – этот изящный, блестящий, желтенький кружочек! Как удобно, не говоря уже о том, как приятно класть его в кошелек!

Родится ребенок. Его крестный отец кладет под подушку матери, лежащей в батисте и кружевах, на зубок новорожденного, полуимпериал. Богач ставит его

на карту, покупает на него любовь и ласку, почет и уважение. Еврей готов продать за него себя хоть по фунтам.

Наличность этих красивых монет обуславливает людское счастье, доставляет радость и довольство – таково мнение большинства. Каждый стремится добыть его. С улыбкой он получается, с гримасой он отдается. Всюду и везде полуимпериал – современный Архимедов рычаг, способный перевернуть мир.

Но задумывается ли кто-нибудь, каким тяжелым, поистине каторжным трудом, добывается оно в Сибири? Немногие, думаю, знают даже, как и кем производится эта добыча?

Читатель, надеюсь, не посетует, если я расскажу ему это.

III

Около золота

По трактовым и проселочным дорогам уже с первых чисел марта начинают двигаться толпы оборванных, полуобнаженных людей.

Сгорбленные фигуры, то изможденные, то зверские лица, лохмотья, которым не подыщешь названия, пьяные возгласы, стоны, проклятия, смешанные с ухарскою, бесшабашною песнею, – это партии рабочих, направляющиеся в тайгу на добычу золота.

Сзади каждой партии едет в накладушке[1 - Телега с кожаным или рогожным верхом.] степенный откормленный приказчик. За ним движется воз, нагруженный разного рода одеждой для партии: тут и озямы,[2 - Халат из желтого сукна.] и однорядки, рубахи, сапоги, бродки[3 - Род обуви из желтой кожи.] и прочее.

Путь долог. Расстояния между селениями попадают на сто верст. Мешки с провизией за спинами рабочих истощаются, ноша становится легче, но и желудки под час пустуют, а это облегчение далеко не из приятных. Наконец

показалось и селение.

Привал.

Селение приготовилось к встрече. Кабатчик торжествует. Заготовленные запасы дурманного зелья идут в ход. У питейного дома толпа. Пропиваются остатки полученных задатков, еще не пропитые на месте получения, пропивается последняя одежда и обувь.

Приказчик производит новый наем рабочих, выдает задатки, одежду, – но и их постигает та же участь.

К избе, занятой приказчиком, ранним утром другого дня собираются полупьяные, непроспавшиеся рабочие.

Большинство с еле прикрытым пестрядинною разодранною рубашкою телом (целовальник, видимо, не взял); некоторые, совсем обнаженные, требуют одежды, обуви, денег.

Приказчик, занимавшийся чайком, отрывается от самовара.

– Идти как же? – вопросительно глядят они посоловевшими глазами на вышедшего из избы приказчика.

– А зачем пропивали? Идите, в чем мать родила, утробы ненасытные! – напускается он на них.

– Нет, уж это ты погодишь! – слышатся возгласы.

– Нанялся – иди, а не хошь – в полицию! – хорохорится приказчик.

– Не пугай, не испугаешь; нами сызмальства только три места и облюбованы: полиция, тюрьма да больница! – острят в ответ рабочие.

Толпа раздражается пьяным хохотом.

Приказчик еще ломается некоторое время, но только для виду. От целовальника им уже с вечера взяты все заклады, со скидкой, и сложены на воз.

Начинается вновь раздача одежды или обуви и запись на счет, но уже по возвышенным ценам; даются и деньжонки.

Партия трогается в путь с запасом провизии и водки на похмелье.

Так до следующего привала, а там та же история.

В тайгу рабочие приходят, уже забрав почти за все время деньги; в лучшем случае остаются к получению гроши. Люди закабалены.

Кто же эти люди?

Подонки даже Сибири. Работящий ссыльный поселенец не пойдет в тайгу, не наймется на прииски.

Приисковый рабочий – отпетый: летом в тайге, зимой в остроге – вот его жизнь. Заработков с прииска не приносят, а труд каторжный.

Разведка, шурфовка и промывка золота производится по течению местных речек и ручьев, в болотистых местах.

От мошки, этого бича приисковых рабочих, одной из казней египетских, не спасает и толстый слой дегтя на лице и теле, она жалит немилосердно, заклепывает глаза, лезет в рот и уши.

Болотные испарения также дают себя знать: цынга, скорбут и другие болезни валят людей. Плохая пища пучит карманы золотопромышленников и животы рабочих.

Работы на приисках начинаются с конца марта, когда и прибывают туда нанятые артели или партии из поселенцев.

Каждая артель приводит с собой на прииск кухарку. Первое дело по приходе на прииск – это приведение в порядок отведенной для артели казармы.

Все казармы на зиму оставляются без окон, и только к весне артельщики получают из хозяйских амбаров рамы, железные печки и трубы; все это они сами прибывают и устанавливают.

Подчас самим же приходится класть печку из камня для выпекания хлеба.

До начала промывки золота все рабочие заняты заготовкой дров на все лето, чтобы потом не отрываться от дела, а также переметкой хозяйского прошлогоднего сена и засолом мороженного мяса.

Как только весеннее солнце пригреет, а снег начнет таять и начнут образовываться прогалины, каждая артель поглощена устройством приспособлений для промывки золота.

Характерный признак каждого прииска – это «плотки» или широкие желоба на столбах для приема воды сверху в машину. Машины для промывки золота по наружному виду напоминают водяные мельницы.

Починкой этих-то «плотков» или же установкой новых желобов, бутар, колод с необходимым возле них «вашгертом» и заняты прибывшие артели.

Артельщик ходит по целым дням с ендовой и лопатой и берет пробы со всех отвесов и различных разрезов, какие находятся на прииске, чтобы начать промывку наверняка. Иногда случается, что пески, при неопытности артельщика, дают хорошую пробу, на промывке же оказываются никуда негодными, иногда же наоборот.

Такая же работа в описываемое нами время происходила и на приисках Петра Иннокентьевича Толстых, но в значительно больших размерах.

К чести Петра Иннокентьевича Толстых и его друга и доверенного Иннокентия Антиповича Гладких надо заметить, что принадлежащий первому громадный по заявленной площади прииск считался раем для рабочих, сравнительно с другими, так как пищи было вдоволь и расчет велся на совесть, да и самый прииск лежал на сравнительно здоровой местности.

Слава о таких исключительных приисковых порядках шла по всей Сибири среди поселенцев, и попасть на прииск к Толстым считалось «фартом», то есть счастьем.

IV

Варнак

Татьяна Петровна, между тем, выбежав из сада, остановилась, а затем медленно, шагом прогулки, пошла в сторону от дороги, где вдалеке, так и сям виднелись избы мелких приискателей-крестьян.

Такие приискатели всегда в большем или меньшем количестве ютятся вокруг крупных приисков, принадлежащих богатым золотопромышленникам.

Они работают на свой страх вне черты заявленной последними площади прииска, но за неимением книг, в которые могли бы записывать золото, приносят золотопромышленнику и продают со значительною скидкой, и это купленное золото значится в книге, как бы добытое на заявленном прииске.

Ввиду того, что на прииске Толстых за доставляемое золото давали «божеские цены», приискателей-крестьян вокруг него собрался почти целый поселок, с маленькою деревянною церковью, существующей уже десятки лет, чуть ли не с первых годов открытия прииска, который в течение этих лет все более и более уходил в глубь тайги, вследствие заявления все новых и новых площадей.

Добыча крестьян-приискателей, вследствие этого, год от году уменьшалась, но они не уходили с насиженных еще их отцами мест, обжились на них и довольствовались малым. Некоторые занялись даже хлебопашеством, хотя неблагоприятная в этих местах Сибири почва не часто радовала их урожаем.

За поселком находился заброшенный прииск, уже окончательно истощенный, но он был все-таки куплен у бывшего золотопромышленника каким-то оборотистым к-ским мещанином Харитоном Безымянным, и в нем для виду копалось несколько рабочих.

Все достоинство этого прииска, из которого было взято все, что можно было взять, было то, что он лежал на пути возвращения приисковых рабочих. Такие прииски называются «половинками», то есть лежащими на полпути.

Во время работ на других приисках на половинках тихо и пусто, работа на них начинается с осени. Золото, приходящее тогда извне, разносится по книгам, как добытое на прииске.

Откуда же приходит это золото?

Ответ несложен. Половинка – это род таежного кафе-шантана. Возвращающиеся с приисков рабочие находят здесь злачное место, музыкантов, таежных «этих дам», водку, строго запрещенную на приисках, и за все это они оставляют там заработанные гроши и краденное во время работы золото. Случается, что и летом загулявшийся рабочий или крестьянин-приискатель притащит на половинку золотого песочка.

Вообще же летом и зимой на половинке обыкновенно утоляет свой невзыскательный аппетит более чем скромными яствами лишь редкий в этих местах путник под видом гостеприимства, но, конечно, небезвозмездно.

По направлению к этому-то поселку и половинке шла по берегу Енисея, задумчиво, как бы машинально срывая по дороге желтые цветы, Татьяна Петровна.

Вдруг перед ней, как из земли вырос высокий, худой старик. Седые, как лунь, волосы и длинная борода с каким-то серебристым отблеском придавали его внешнему виду нечто библейское. Выражение глаз, большею частью полузакрытых веками и опущенных долу, и все его лицо, испещренное мелкими, чуть заметными морщинками, дышало необыкновенною, неземною кротостью и далеко не гармонировало с его костюмом.

Костюм этот был потертый озям с видневшеюся на груди холщевою сорочкою, на голове у него был зимний треух, на ногах бродни, а за плечами кожаная котомка, видимо, далеко не вмещавшая в себя многого. В правой руке он держал суковатую палку.

С первого опытного взгляда можно было признать в нем «варнака», как зовут в Сибири беглых каторжников.

Если Татьяна Петровна отступила назад перед внезапно появившимся перед ней незнакомцем, то это далеко не произошло оттого, что она испугалась встречи с «лихим человеком», каким принято у нас считать каторжника, но лишь от неожиданности.

Как коренная сибирячка, Татьяна Петровна с детства привыкла видеть в «варнаке» не лихого человека, а «несчастненького», который нуждается в помощи, и не только сам никого не обидит, но все время боится, как бы не обидели его.

«Варнаков», впрочем, в Сибири и не обижают. По тем трактам, где они идут «в Россию», то есть совершают преступное, с точки зрения закона, бегство, в деревнях обязательно выставляют на ночь около изб, на особой полочке, приделанной у ворот, жбан квасу и краюху хлеба для «несчастненьких», а днем охотно оказывают им гостеприимство, и очень редки случаи, когда «варнаки», эти каторжники, платят за добро злом. Напротив, оказанное им доверие делает их тише ягненка и преданнее собаки, и своего рода каторжный point d'honneur установил, что нарушившего оказанное доверие «варнака» его собственные товарищи присуждают к смерти или убивая, или оставляя одного в тайге, обрекая, таким образом, на голодную смерть или на растерзание диких зверей.

Оправившись от первого испуга, Татьяна Петровна окинула стоявшего перед ней «варнака» внимательным взглядом, и от нее не ускользнуло необыкновенное выражение его лица, красноречиво говорившее о пережитых им несчастьях.

Сердце молодой девушки исполнилось искренней жалостью.

– Я перепугал вас, барышня?.. – тихо спросил старик.

– Нет, но ты, дедушка, так неожиданно вырос предо мной... и притом, ты нездешний...

– Угадали, барышня! Видно, вы знаете всех несчастных в округе... Я издалека и много дней уже скитаюсь по матушке-Сибири... Проснувшись, увидел, что вы идете... Почудилось мне, что будто ангел-хранитель мой спустился на землю...

Наверное, барышня, мне фарт будет...

– Дай тебе Бог! А далеко тебе идти, дедушка?

– Теперь недалече...

– Если хочешь, зайди к нам во двор... Видишь, виднеется высокая крыша. Отдохнешь у нас на кухне и подкрепишься...

– Спасибо, барышня, да мне теперь рукой подать осталось...

Молодая девушка вынула из кармана несколько серебряных монет и, передавая старику, сказала:

– Возьми, дедушка, пока до форта-то...

Глаза «варнака» наполнились слезами.

– Благослови вас Господь, касаточка; ангельское, видно, у вас сердце...

Татьяна Петровна зарделась, как маков цвет.

– Так вы живете здесь по близости?..

– Да, вон там, в высоком доме. Я живу с отцов и крестным.

– В высоком доме? – как бы про себя повторил старик. – Этот дом разве не принадлежит больше Петру Иннокентьевичу Толстых? – спросил он вслух.

– А разве ты знаешь его, дедушка?

– Ни... нет! Но много лет тому назад я слышал о нем.

– Так это и есть мой отец.

– Ваш отец?

– Конечно, если я его дочь...

Старик низко опустил голову и задумался.

– Если мне не изменяет память, то Петру Иннокентьевичу теперь лет семьдесят?..

– Это так и есть...

– А вам, барышня, годков шестнадцать?..

– Нет, мне скоро будет двадцать один, но меня все считают моложе, так как я мала ростом, а маленькая собачка, известно, до старости щенок, – засмеялась Татьяна Петровна веселым смехом.

– Скоро двадцать один... – снова задумчиво, как бы про себя, повторил варнак. – Я, может быть, вам покажусь любопытным, – обратился он снова к ней. – Милая барышня, я знал когда-то давно, что у Петра Иннокентьевича была дочка и он был вдовец, но эта дочь – не вы, так как более двадцати лет тому назад она уже была в ваших летах – ее звали...

– Марией... – перебила его молодая девушка. – Я ее никогда не видала. Ее уже не было, когда я родилась... Только в прошлом году я узнала, что Мария однажды ушла и более уже не возвращалась, и никто не знает, по какой причине. Все думают, что она умерла...

Старик задрожал и спросил, видимо прерывающимся от внутреннего волнения голосом:

– А вас как зовут, барышня?

– Татьяной.

– Ваша мать тоже живет с вами?

– Мою мать я тоже, как и Марию, никогда не видела. Она умерла, когда я родилась... – печально отвечала молодая девушка.

– Как это странно! – пробормотал старик и провел своей костлявой рукой по лбу. – У Петра Иннокентьевича был в то далекое время, о котором я вспоминаю, служащий, нет, скорее друг, Иннокентий Антипович Гладких. Он жив еще? – спросил он Татьяну Петровну после некоторой паузы.

– Жив и здоров, и умирать охоты не чувствует, – отвечала она. – Он и есть мой крестный.

– Гладких ваш крестный! – воскликнул старик, весь задрожав.

– Ну, да, чему же ты так удивился, дедушка? – вскинула она на него свои глаза. – Да вот и он, легок на помине, сам идет сюда за мной.

Старик почти помутившимся взглядом посмотрел по указанному молодой девушкой направлению.

Гладких действительно подходил к ним бодрой и твердой походкой, но не доходя двух шагов до своей крестницы, вдруг остановился, как пригвожденный к месту, окидывая пристальным взглядом варнака.

Эти два человека, носившие в своей душе столько одинаковых прошлых тяжелых воспоминаний, в течении более двух десятков лет хранивших, во всех мельчайших подробностях, кровавую тайну высокого дома, узнали друг друга так, как бы последняя встреча их произошла вчера, а не два десятилетия тому назад.

Молодая девушка в недоумении смотрела то на того, то на другого, не понимая ничего в этой немой сцене, инстинктивно, впрочем, чувствуя в ней страшную тайну, которая касается и ее. Сердце у ней томительно сжалось – она тоже как бы окаменела.

Вернемся, дорогой читатель, почти за четверть века назад и воссоздадим то прошлое, которое так мгновенно, сильно и ясно промелькнуло в уме обоих встретившихся стариков.

Роковая ночь

Варнак сказал правду: Петру Иннокентьевичу Толстых летом 186... года было около пятидесяти лет. Уже несколько лет, как он был вдовцом и жил по зимам в городе К., а летом на своей заимке в высоком доме, со своей дочерью Марией.

Потеря любимой жены, случившаяся за десять лет перед тем, сильно повлияла на него: он сделался угрюм и неразговорчив, удалился из общества и всю свою любовь сосредоточил на маленькой Маше, оставшейся после смерти матери десятилетним ребенком.

Несмотря на эту кажущуюся черствость, Петр Иннокентьевич был добрый и справедливый человек, и все, имевшие с ним дело, кончая последним поселенцем – приисковым рабочим, уважали его за честность и справедливость.

Эти два последние качества были жизненным девизом Толстых. Он требовал их и от окружающих, и малейшая ложь доводила его до бешенства.

Петр Иннокентьевич был страшно вспыльчив, хотя и отходчив, как говорили о нем слуги и рабочие.

Иннокентий Антипович Гладких был и в то время уже правою рукою хозяина и помогал ему заведывать приисковым делом. Он был сын доверенного еще покойного отца Петра Иннокентьевича, умершего в доме, почти на руках своего доверителя и оставившего жену и сына. Вдова, вскоре после смерти мужа, сошла в могилу, а маленький Кеня, как сокращают в Сибири очень распространенное имя Иннокентий, даваемое в честь первого иркутского архиепископа, вырос в доме Толстых полуслугой, полутоварищем единственного сына Иннокентия Толстых – Пети, ставшего с годами Петром Иннокентьевичем.

Шли годы, друзья детства не разлучались, и Иннокентий Антипович сделался сперва приказчиком, а затем полновластным доверенным Толстых. Работал он с самоотвержением и знал не только все дела, но даже все мысли своего

доверителя и друга, и один умел сдерживать порывы его гнева и даже, подчас, что не удавалось никому, поставить на своем.

Марье Петровне шел двадцатый год. Статная, высокого роста, всегда оживленная и веселая, как майский луч солнца, она слыла в городе К. и в округности первую сибирскую красавицей. Ее великолепные черные, как смоль, волосы, зачесанные назад и заплетенные в толстую косу, открытый высокий лоб, как бы выточенный из слоновой кости, большие черные глаза сияли тихим блеском доброты и мечтательности, а маленькие пунцовые губки при улыбке открывали ряд жемчужных зубов. Покрытые пушком, полненькие щечки с ярким румянцем и правильный носик, с раздувающимися ноздрями придавали ее лицу необыкновенную прелесть, маленькие грациозные ножки и миниатюрные, как бы высеченные из мрамора ручки довершали очарование этой дочери Сибири, которая могла бы поспорить с любой красавицей палящего юга.

– Она похожа на мать, как две капли воды, – говорили про нее все знавшие покойную жену Петра Иннокентьевича.

Характером она была в отца – гордая, энергичная, с независимой волей и настойчивостью в достижении цели.

Старик Толстых ничего не жалел для ее воспитания и образования, и выписанные за баснословные деньги из России гувернантки не даром получили эти деньги.

Петр Иннокентьевич боготворил свою дочь и гордился ею. Он давал за нею миллион в приданое и прочил ей в мужья чуть ли не заморского принца, но... человек предполагает, а Бог располагает.

Верность этой пословицы пришлось испытать Петру Иннокентьевичу на самом себе.

Однажды ночью ему не спалось. Он подошел к окну, которое выходило в сад, и открыл его.

Стояла июньская сибирская ночь, воздух был свеж, но в нем висела какая-то дымка от испарений земли и тумана, стлавшегося с реки Енисея, и сквозь нее тускло мерцали звезды, рассыпанные по небосклону, и слабо пробивался свет

луны, придавая деревьям сада какие-то фантастические очертания. Кругом была невозмутимая тишина, ни один лист на деревьях не колыхался, и только где-то вдали на берегу реки стрекотал, видимо, одержимый бессонницей кузнечик.

Петр Иннокентьевич несколько времени стоял, как бы очарованный этой картиной тихой ночи, затем поднял руку, чтобы закрыть окно, как вдруг ему показалось, что какая-то тень проскользнула по саду. Его рука опустилась, он несколько выдвинулся из окна и стал прислушиваться. Тихий шорох шагов достиг до его ушей, и он ясно различил темную фигуру, крадущуюся между деревьями по аллее, ведущей к заднему двору дома. Осторожно озираясь, приблизилась она к калитке, тихо отворила ее и вышла из сада.

Петр Иннокентьевич отшатнулся от окна, как ужаленный, и протер глаза, чтобы убедиться, что он не грезит.

Он узнал свою дочь.

Он окаменел от этого рокового открытия и остался несколько минут недвижим, затем вздрогнул всем телом и пробормотал:

– Что же это значит?

Он побледнел, как смерть; холодный пот выступил на его лбу, и он стремительно бросился к двери, но вдруг остановился и, вернувшись назад, в изнеможении бросился в кресло.

«Его дочь ходит по ночам на какие-то тайные свидания, его дочь обманывает его!» – жгли его мозг страшные мысли.

Какое ужасное открытие для отца; а, между тем, это было так! Куда же было ходить по ночам Марии? Но так ли это ужасно, как рисует его воображение, до каких границ дошла она, забыв свои обязанности, не находится ли она на краю пропасти, или уже упала в нее? Но если она так нагло обманывает своего отца, то здесь, поблизости, должен находиться ее сообщник, тот, с кем она его обманывает. Здесь, на заимке, в тайге!?. Это невозможно! Вдруг он вспомнил, что несколько раз встречал, почти у самого сада, незнакомого ему молодого человека – он подумал тогда же, что это кто-нибудь из приезжих к мелким приискателям или на половинку. Теперь он начал припоминать и многое другое.

Еще в К. перед переездом на заимку, в одно из воскресений, когда он с дочерью был в соборе, он заметил этого же молодого человека, стоявшего прислонившись к колонне. Когда они выходили из храма, его дочь переглянулась с ним. Он тогда не обратил на это внимания, но теперь все это с особой ясностью представилось ему.

Не оставалось никакого сомнения, что это был тот самый человек, который соблазнил его дочь.

Вся кровь при этой мысли закипела в его жилах, и в душе проснулись жгучая ненависть и ненасытная жажда мести.

Он вспомнил еще, что однажды, когда он вошел в комнату Марии, она бросила в топившуюся печку сложенный листок бумаги.

Тогда он не имел ни малейшего подозрения и слепо верил своей дочери.

Все эти воспоминания, гурьбой пришедшие ему на ум, открыли теперь ему глаза, и он увидел роковую правду.

Пользуясь неограниченным доверием отца, его дочь получала письма и, наверно, отвечала на них. Но каким способом она переписывалась – здесь, в тайге? Ужели в заговоре против него кто-нибудь из слуг? Это ужасно!

У него мелькнула мысль подкараулить дочь при помощи Гладких, но он отбросил эту мысль. Он решил было пойти сейчас к дочери и потребовать от нее ответа и объяснения в ночных прогулках.

– Нет, – глухо пробормотал он. – Она все равно скроет от меня правду, а я хочу знать все.

Всю ночь до утра провел он, не думая даже о сне. Его била нервная лихорадка, и первые лучи солнца застали его в страшной внутренней борьбе.

– Что случилось? Ты нездоров? – спросил его вошедший к нему, по обыкновению, перед уходом на прииски, Иннокентий Антипович.

– Нет, я здоров, но я понимаю твой испуг, потому что я сам испугался самого себя, когда посмотрелся в зеркало. Иннокентий, я сегодня ночью сделал страшное открытие...

– Ради Бога, объясни, что такое?.. Я не понимаю тебя... – тревожно перебил его Гладких, смотря на него широко открытыми от удивления глазами:

– Моя дочь по ночам уходит из дому...

– Ты бредишь... Ты видел это во сне.

– Я не спал... Я не спал, я стоял у этого окна и своими глазами видел, как она в полночь возвращалась домой.

– И ты не спросил ее, где она была?

– Нет, я не хочу до поры до времени, чтобы она знала, что ее шашни открыты... Да она и вывернулась бы и снова одурачила бы меня.

– Ты, значит, ее подозреваешь... – начал было Иннокентий Антипович.

– Подозревать... – принужденно усмехнулся Толстых. – Я уверен.

– Ты меня пугаешь...

– А ты разве ничего не знаешь?

– Ничего! Но если ты ошибаешься... Берегись и не спеши обвинять...

– О, если бы я ошибался... – каким-то стоном вырвалось из груди Петра Иннокентьевича.

– Но что же ты думаешь?

– Я думаю... – с трудом, задыхаясь, отвечал он, – что Мария опозорила мое честное имя.

– Это ложь! – вскрикнул Гладких. – Это ложь! Такая мысль недостойная тебя, Петр! Ты клеветешь на свою дочь... Обвинять ее, чистую, добрую, непорочную, которую все бедняки в окрестности считают их ангелом-хранителем. Это ужасно, это чудовищно!

– Если ты за нее заступаешься, то объясни мне, пожалуйста, зачем она по ночам выходит из дома, да еще крадется, возвращаясь назад, как преступница?

– Но, быть может, она ходила навещать кого-нибудь из больных в поселке?

– Это ночью-то? – нервно расхохотался Толстых. – Нет, друг, ты напрасно ищешь средств ее оправдать. Она не стоит этого, она осрамила мою седую голову... Погибла ли она безвозвратно – я этого не знаю, но я хочу это знать...

С этими словами Петр Иннокентьевич подошел к окну и печально посмотрел на свои владения.

– Все это принадлежит мне, – печально произнес он, – многие завидуют моему богатству. Они думают, что я счастлив. Дураки! О, как бы возрадовались они, если бы узнали, что имя Иннокентия Толстых покрыто позором и забрызгано грязью, и что это сделала его родная дочь!

VI

Незнакомец

Иннокентий Антипович, ошеломленный всем тем, что услышал, стоял как окаменелый.

– Не встречал ли ты здесь за последнее время, – обратился к нему, после некоторой паузы, Петр Иннокентьевич, – молодого человека, белокурого, с голубыми глазами, очень щеголевато одетого?

– Да, даже несколько раз, – вскинул Гладких тревожный взгляд на Петра Иннокентьевича.

– Ты его знаешь?

– Нет, он, кажется, из К.

– Что же он делает здесь, если живет в К.?

– Этого я не знаю, но думаю, потому что встречал его там.

– И я тоже...

– Так ты думаешь, что это и есть тот, который...

Гладких не договорил, так как Толстых перебил его.

– Это именно он, я убежден в этом.

Иннокентий Антипович сомнительно покачал головой.

– Это он, повторяю тебе! – вспыхливо крикнул Петр Иннокентьевич. – Я должен узнать его имя и где он живет, зачем он здесь?.. Я должен узнать это, слышишь, Иннокентий!.. Ты мне узнаешь все это...

Гладких молча наклонил голову в знак согласия.

– Мне, конечно, не след тебя учить осторожности... Главное, чтобы Мария не знала ничего... Избави Бог тебя сделать даже намек о нашем разговоре...

Спустя полчаса Гладких вышел из дому и пошел по направлению к поселку и половинке.

Он возвратился только вечером. Петр Иннокентьевич ожидал его с нетерпением.

– Ну? – спросил он, когда они остались одни.

– Он из К... Живет здесь с неделю на половинке и охотится...

– Охотится... – с злобной усмешкой повторил Петр Иннокентьевич. – Как его зовут?..

– Борис Петрович...

– Фамилия?

– Этого никто здесь не знает.

– И больше ты не узнал ничего?

– Ничего.

– Поезжай в К., но узнай мне все подробно...

Иннокентий Антипович снова сделал молчаливый кивок головой, в знак согласия.

На другой день он выехал в К.

Четыре дня, которые продолжалось его отсутствие, показались для Толстых целую вечность. Его положение усложнялось необходимостью скрывать свое внутреннее волнение от дочери. Все ночи он проводил без сна, хотя отводил душу в страшных угрозах по адресу соблазнителя его дорогой Марии. Он припоминал ее недавнее обращение с ним, наивный взгляд ее глаз, который положительно не мог принадлежать обманщице, и все это доводило его до крайнего бешенства.

– Притворщица!.. – злобствовал он наедине с собою. – За кого она принимает меня со своим милым дружком, за дурака, над которым им можно смеяться. О, я покажу им, как они горько ошибаются.

Наконец приехал Гладких.

– Узнал? – встретил его вопросом Петр Иннокентьевич, когда он утром, на пятый день своего отъезда, вошел в его комнату.

– Узнал, – упавшим голосом отвечал Иннокентий Антипович. – Он в К. приехал лишь месяца два тому назад и стал в гостинице Шилова. Фамилия его Ильяшевич.

– Но откуда же он появился в К. Не упал же с неба?

– Из Томска.

– Из Томска, ты говоришь из Томска, – схватился за голову Толстых. – О, я теперь понимаю все!.. Мария ездила в прошлом году гостить в Томск, к своей подруге детства, Гладилиной, которая вышла за Игнатьева и поселилась в Томске. Я еще не хотел отпускать ее, как будто предчувствовал беду. Нет сомнения, что она познакомилась там... Она вернулась, а через какой-нибудь месяц или два он последовал за нею... Они, вероятно, условились. Наверное, они были в переписке, а теперь видятся и виделись там, в К. А я, я ничего не знал... Как они должны были смеяться надо мною.

Петр Иннокентьевич злобно захохотал.

– Что же он делает все это время в К.? – задал он вопрос, молча, с неподдельной грустью, смотревшему на него Гладких.

– Я стороной, осторожно расспросил хозяина гостиницы. Он рассказал мне, что вновь прибывший редко отлучался из дома днем и все что-то писал, выходил изредка по вечерам, деньги платил аккуратно, а обеды ему приносили из общественного собрания.

– А!.. ночная птица, подлец, который боится дневного света... Я покажу ему себя!.. – с пеной у рта прохрипел Петр Иннокентьевич и скорее упал, нежели сел в кресло.

Гладких все продолжал стоять.

– Теперь, Иннокентий, веришь ты в мое несчастье? – несколько успокоившись, спросил Толстых.

Гладких молчал, но две крупные слезы повисли на его ресницах. Ему тяжело было выразить согласие, обвиняющее горячо любимую им дочь своего старого друга, а, быть может, он и не находил ее столь виновной, как ее отец, а только неосторожной, но он хорошо знал характер своего друга, знал, что противоречить ему, во время вспышки гнева, все равно, что подливать масла в огонь.

– Благодарю тебя за известия, – продолжал Петр Иннокентьевич, не дождавшись ответа на предложенный им вопрос. – Но мы еще не все знаем. – Могу ли я рассчитывать на тебя?

– Петр, ты знаешь мою преданность... – с укором отвечал Гладких.

– О, конечно, дорогой друг, конечно, и я в ней не сомневаюсь. Я знаю, какое сердце бьется в твоей груди. Мое несчастье – вместе и твое, и я уверен, что ты ни на минуту не задумаешься принести в жертву все, чтобы спасти мою честь.

– Говори, Петр, чего ты требуешь от меня? – прервал его Иннокентий Антипович.

– Хорошо, слушай: между Марией и этим Ильяшевичем несомненно существует переписка, они назначают друг другу свидания. Я не сомневаюсь в этом, так как своими глазами видел, как она сожгла письмо... Я должен иметь одно из этих писем...

– Это будет трудно.

– Это надо. С этой минуты мы оба будем настороже, и ни одна живая душа не подойдет к дому и не выйдет из него, укрывшись от нашего глаза. Ты будешь сторожить снаружи, а я – внутри. Ты меня понял?

– Понял.

– О, я буду терпелив, но я хочу, в конце концов, узнать то, что я должен знать. На какие бы дьявольские хитрости они ни пускались – мы их накроем. Больше им

меня не обмануть. Я ищу правды, страшной правды и – я найду ее.

Глаза его налились кровью.

– Если моя дочь потеряла вместе с сердцем и свою честь, я буду пить чашу позора, капля за каплей...

Его голос захрипел и прервался.

– Петр, Петр, не осуждай преждевременно!.. – воскликнул Иннокентий Антипович.

– И мне придется ее выпить до дна, до самого дна... – не слыша его, как бы рассуждая сам с собою, продолжал Толстых.

– Ради самого Бога, Петр, не говори так, ты пугаешь меня.

– Ты, ты, заступаешься за нее!? – вдруг вскрикнул Толстых и вскочил.

– Да, потому, что я не могу допустить мысли, чтобы Мария сделала такую ошибку...

– Ты хочешь сказать – преступление...

– Она, быть может, поступила неосторожно...

– Очень скоро узнаем мы, кто из нас обоих прав – ты или я. До тех пор у меня не будет ни одной минуты покоя, ни одной ночи сна. Вот уж шесть дней, как я в таком состоянии, как будто бы хожу по раскаленным углям. Несколько раз, когда я смотрел на мою дочь, я чуть не выдал себя, я не мог выдержать напора злобы, которая клокотала в моей груди; но я собрал свои последние силы и сдержался... Я буду терпелив. О, Иннокентий, Иннокентий, дай Бог, чтобы ты был прав... ради нее, ради меня, ради него... О, он... он... Но мы посмотрим...

Губы его судорожно сжались, и лишь по глазам можно было угадать переживаемые им нечеловеческие страдания. Через несколько минут он снова пришел в себя.

– Начнем же действовать, мой дорогой друг, – с горькой усмешкой потрепал он по плечу Гладких.

– Ты увидишь, что я прав... – отвечал тот.

– Подождем и увидим...

Ждать пришлось недолго. Через несколько дней, когда Толстых, по обыкновению последних дней, как зверь в клетке, ходил по своему запертому на ключ кабинету, ему вдруг послышались приближающиеся к двери шаги. Он быстро подошел и отпер ее. На пороге стоял бледный, как смерть, Иннокентий Антипович. Толстых окинул его вопросительным взглядом.

– Из дружбы и преданности к тебе, – дрожащим голосом начал Гладких, – я разыграл роль шпиона. В засаде, из-за кустов, я наблюдал за Ильяшевичем.

– Говори тише... – заметил, весь дрожа от волнения, Петр Иннокентьевич.

– Он подошел к каменной кузнице, которая стоит на краю поселка и в которой давно уже никто не работает, легко вынул один из кирпичей и снова положил его на место.

– Что же дальше?

– Я выждал, когда он удалился, подошел к кузнице и без труда нашел свободно вставленный кирпич, вынул его, и там оказалось письмо...

– Наконец-то!.. – со злобной радостью воскликнул Петр Иннокентьевич. – Действительно, хитро придуманный способ, чтобы за спиной отца вести переписку с каким-то жиганом.[4 - Жулик – местное выражение.] Давай-ка сюда.

Гладких вынул из кармана письмо и молча подал его Толстых. Письмо находилось в конверте, без всякой надписи.

Петр Иннокентьевич запер окно, двери и тогда уже разорвал конверт, вынул письмо и с жадностью прочел следующее:

«Милая Манечка!

Несколько дней, в которые я не видел тебя, кажутся мне вечностью. Как же я могу прожить без тебя целый год! Я дрожу при мысли об отъезде, день которого близок, дрожу при мысли о далеком пути, который мне необходимо предпринять для нашего счастья.

Приходи сегодня к одиннадцати часам, когда в доме все будут спать. Приходи, моя ненаглядная. Я должен тебя видеть, должен прижать тебя к моему сердцу. Мне необходим один взгляд твоих чудных очей, чтобы воспрянуть духом, и один поцелуй твоих коралловых губок, чтобы успокоить свое ноющее сердце.

Я буду ждать тебя на берегу и, как всегда, свидетелями нашего счастья будут луна, звезды да волны быстроводного Енисея.

Твой всегда Борис».

Лицо Толстых, когда он читал эти строки, было страшно. Исказившиеся черты и посиневшие губы выражали необузданную ярость.

– Несчастные! Несчастные! – бормотал он хриплым голосом. – На, читай, читай... – продолжал он, окончив чтение и тыча чуть не в лицо Гладких письмо. – Нужны ли тебе еще другие доказательства? Эти строки писаны рукой, которая опозорила мое доброе имя. Несчастливая растоптала в грязи свою и мою честь! Но кто этот негодяй, который скрывается днем и только ночью шляется, как разбойник. Горе ему, горе им обоим!

Иннокентий Антипович вздрогнул и сделался вдруг бледнее своего друга.

– Что ты хочешь делать? – воскликнул он.

– Я еще сам не знаю... – отвечал диким голосом Толстых.

– Умоляю тебя, обдумай хорошенько!

– Я обдумаю... обдумаю, – как-то бессознательно повторял Петр Иннокентьевич.

– Нельзя ни на что решаться в минуты гнева... Берегись, Петр! Я боюсь за тебя... Я читаю в твоих глазах страшные мысли.

– О, конечно, я должен отомстить!

– Петр, может быть, горе еще не так велико, может быть, есть еще возможность и время...

– Молчи! – перебил его, крикнув страшным голосом Толстых. – Я говорю тебе, я опозорен: моя дочь пала... пала!..

Он упал в кресло, закрыв лицо руками.

Иннокентий Антипович вздрогнул и опустил низко голову.

– Где она теперь?.. – встал с кресла Петр Иннокентьевич.

– В своей комнате.

– А...

Толстых взял со стола другой конверт, бережно положил в него письмо и подал его Иннокентию Антиповичу.

– Отнеси его туда, откуда ты его взял, – коротко сказал он ему.

Гладких окинул его вопросительно-удивленным взглядом.

– Что ты замыслил? – испуганно спросил он.

– Это касается только меня одного.

– Охотно верю, но и отгадываю твое намерение, ты устраиваешь им ловушку. Не делай этого, это недостойно тебя.

– Я не нуждаюсь в наставлениях и совсем не расположен теперь слушать проповеди, – резко отвечал Петр Иннокентьевич.

– Петр! Именем твоей покойной жены, которую ты так сильно любил, заклинаю тебя, не делай этого!.. Послушай меня, позови свою дочь, поговори с ней, спроси у нее...

– Нет! Оставь меня и делай, что я тебя прошу, если ты мой друг. Делай, или будет еще хуже... Я хочу, чтобы Мария пошла сегодня на свидание, которое ей назначили...

Гладких понял, что теперь все его слова были бы напрасны и не изменили бы рокового решения Толстых. Он замолчал, но мысленно решил во что бы то ни стало спасти молодую девушку от угрожавшей ей опасности.

С поникшей головой вышел он из комнаты.

Через несколько минут, письмо было положено на прежнее место, а Иннокентий Антипович отправился в приисковую контору.

VII

Над письмом

Через какой-нибудь час времени к заброшенной кузнице торопливой походкой подошла Мария Петровна и, робко озираясь по сторонам, вынула кирпич, достала письмо и быстро сунула его в карман платья.

Еще раз оглядевшись кругом и успокоившись, что ее никто не видел, она так же быстро возвратилась домой и прошла в свою комнату, чтобы без помехи прочесть дорогое послание.

Комната Марии Петровны была отделана как игрушка: пунцовая шелковая мебель, такие же драпировки и пушистый ковер с большими букетами пунцовых цветов придавали обширной комнате уютный вид. За поднятою, на толстых

шелковых шнурах, пунцовой драпировкой виднелась белоснежная кровать с целою горою подушек.

Масса дорогих безделушек украшала письменный стол и две этажерки, стоявшие по углам. В переднем углу блестел кованный золотом образ Божьей Матери.

Все в этой комнате указывало на заботливую любящую отцовскую руку, которая, с помощью колоссальных богатств, могла устроить в далекой сибирской тайге такой комфортабельный уголок, украсив его произведениями не только центральной России, но и Западной Европы. Картины, принадлежащие кисти нескольких лучших художников, украшали стены комнаты, оклеенной дорогими пунцовыми обоями. С потолка спускалась изящная лампа; другая, на художественной фарфоровой подставке, украшала письменный стол.

Все эти знаки внимания и любви горячо любимого ею отца производили теперь на Марию Петровну тяжелое впечатление. Они угнетали ее, они напоминали ей об этом отце, которого она обманывала.

Время, когда она с наслаждением проводила целые часы в этой уютной комнате, увы, для нее миновало. Она сидела в ней теперь со страхом и трепетом, и – не даром. Зная за собою вину, она не имела ни минуты покоя, страхась постоянно, что ее тайна будет открыта. Она чувствовала, что краснеет каждый раз, когда отец смотрит на нее более или менее пристально, и этот предательский румянец, казалось ей, выдаст ее с головой обманутому отцу. К ужасу своему, она заметила за последнее время, что он стал еще угрюмее, не заговаривает с нею и избегает оставаться с глазу на глаз.

«Боже мой, неужели он что-нибудь подозревает?» – с боязнью спрашивала она самое себя.

Она успокаивала себя, что это ей только кажется; но страх за будущее продолжал холодить ее сердце.

Она страдала, впрочем, мужественно. Ведь она страдала за него, за того, которого она любила такой беззаветной любовью, любовью, способной на всякие жертвы.

Он был так молод, так хорош.

Богат ли он? – этого она не знала, но у него было чудное сердце, большое честолюбие и радужные надежды на будущее. Она действительно встретила с ним в Томске, в доме ее подруги детства. Он и там был приезжий, хотя покойный отец его провел в этом городе последние годы своей жизни.

Старик Ильяшевич был в ссылке за польское восстание 1830 года, и Борис Петрович родился в Якутской области, откуда отец отправил его, девятилетним ребенком, в Варшаву, а сам получил впоследствии разрешение поселиться в пределах Сибири, где ему будет угодно, и избрал для своего местожительства город Томск. Борис, между тем, окончил курс в одной из варшавских гимназий, перебрался в Петербург, где прослушал университетский курс по юридическому факультету и, вызванный в Сибирь к умирающему отцу, не застал его в живых.

Мать его, последовавшая в ссылку за отцом, умерла на пять лет ранее своего мужа.

Борис Петрович на несколько месяцев остался в Томске для устройства дел и получения документов, необходимых ему для ходатайства о возвращении ему прав и конфискованных имений его отца, на что он твердо надеялся, и – здесь встретился с Марьей Петровной Толстых.

Смерть отца, которому он не успел закрыть глаза, забота о будущем отражались дымкой грусти на красивом лице молодого человека.

Марья Петровна начала с того, что захотела его утешить и кончила, как это обыкновенно бывает, тем, что отдала ему свое сердце. Она не ведала, какая пропасть ожидает ее на этом пути, усеянном розами.

Счастье первой любви туманит рассудок. Время укрепило и усилило эту любовь, и Марья Петровна не видела в этом ничего дурного. Она любила без расчета и рассуждения, и ей казалось, что как она отдала ему свое сердце, так же отдала бы и свою жизнь. Она вся принадлежала ему – одному ему... Переживая весну любви, никогда не думают об ее осени.

Единственно, что смущало молодую девушку, это необходимость скрывать свое чувство от отца.

– Признание перед отцом, – сказал ей Борис, – теперь, когда мое положение не упрочено, может погубить все. Нас разлучат, и тогда... прощай любовь!

Защищать свою любовь, значит защищать свою жизнь, а потому она молчала.

Марья Петровна углубилась в чтение письма.

– Милый, дорогой Борис!.. – начала думать она вслух, прочитав письмо. – Он решился... Это необходимо – дни проходят, время бежит... Ему, конечно, все удастся, – мое сердце меня не обманывает. Разве не довольно он выстрадал? Милосердный Бог, который обо всем заботится, не оставит его. Он страшится разлуки со мной. Я боюсь ее не менее... Но она необходима, будущее счастье требует жертв. Я пойду на свидание! Ведь это последнее!.. Я рискую страшно: вдруг меня кто-нибудь увидит... узнает... Одна мысль об этом холодит мое сердце. Но если он меня еще раз не увидит, у него пропадет и мужество, и решимость уехать... Он зовет меня, и я должна принести ему то, что он просит – энергию и надежду.

Она зажгла свечу и сожгла письмо – предосторожность, увы, запоздалая! На ресницах ее блеснули слезы. Она вытерла их и сошла вниз.

В столовой она застала Иннокентия Антиповича. Он ласково поздоровался с молодой девушкой. Ей бросилось в глаза грустное выражение его лица.

– Что с вами, вы печальны?

– У меня много забот в последнее время... – дрожащим голосом отвечал он.

– Что-нибудь с рабочими? Разве попалась неудачная партия?

– Нет, благодаря Бога, к нам идет рабочий на отличку... Я не об этом...

Гладких остановился.

– О чем же? С некоторых пор вы не откровенны с вашей любимицей.

Иннокентий Антипович уже раскрыл было рот, чтобы предупредить молодую девушку и посоветовать ей не выходить вечером из ее комнаты, но в эту минуту вошел Петр Иннокентьевич и бросил на своего друга такой взгляд, который сковал ему язык. Иннокентий Антипович лишь долгим взглядом окинул Марию Петровну и вышел. В этом взгляде была немая мольба, но молодая девушка не поняла его.

«Бедный Иннокентий Антипович! Его опять что-то огорчило, верно, папа сегодня не в духе», – подумала она.

Пасмурное лицо отца утвердило ее в этой мысли.

– Барышня, там пришел муж Арины и принес вам молодого волчонка, – сказала вошедшая горничная.

– Где он?

– На дворе, у кухни.

Марья Петровна очень любила животных: у нее были ручной медведь, два совершенно ручных волка и прирученная лисица. Последняя, впрочем, знала лишь ее одну, и, как и медведь, сидела на цепи, волки же гуляли по двору вместе с собаками.

Всем этим зверинцем она была обязана Егору Никифорову, бывшему крестьянину-приискателю, посвятившему себя теперь всецело охоте и известному в высоком доме более, под прозвищем «мужа Арины».

Арина была кормилицей Марьи Петровны и боготворила свою питомицу, тем более, что ее собственные дети умирали, не доживая до году, а первый прожил только несколько дней. Марья Петровна платила своей кормилице горячею любовью.

Молодая девушка поспешно прошла через кухню и вышла на крыльцо, у которого, прислонившись к заплоту, с волченком под мышкой и с ружьем в правой руке, стоял Егор Никифоров.

Это был красивый, видный мужик лет за сорок. Его открытое лицо, с несколько плутоватыми, как у всех сибирских крестьян, глазами, невольно вызывало симпатию, и о нем с первого раза складывалось мнение, как о «славном малом». Темнорусая борода окаймляла смуглое лицо, и такая же шапка густых волос оказалась на голове, когда он снял почтительно свою шапку, увидав вышедшую к нему барышню.

– Вот зверька вам, барышня, принес для забавы.

Он подал ей маленького волчонка, с растопыренными лапами и бегающими в разные стороны маленькими глазками.

– Спасибо, Егор, спасибо! – взяла в руки зверька Марья Петровна и бережно опустила его на крыльцо. – Марфа! – крикнула она в отворенную дверь кухни.

На пороге появилась высокая, плотная женщина.

– Что угодно, барышня?

– Накорми новенького молочком и посади пока в чулан... вот в этот, – показала Марья Петровна рукой на дверь выходившего в кухонные сени чулана.

– Слушаю-с.

Марфа взяла волчонка и потащила в кухню. Он слабо взвизгивал.

– Ну, что Арина, – обратилась Марья Петровна к Егору. – Я ей приготовила уже давно все нужное. Как ее здоровье?

– Какое уж здоровье в ее положении... она и так-то у меня хилая!

Молодая девушка покраснела.

– Так я тебе передам сверток для Арины. Присядь пока здесь, на крылечке, велю и тебе вынести водочки и приедок.[5 - Приедками в Сибири называют закуски, состоящие из пирожков, рыбы и прочего.]

– Спасибо, барышня, дай вам Бог жениха хорошего и богатого.

Марья Петровна не слыхала этого пожелания, так как поспешно вбежала в дом и через несколько минут вернулась, держа в руке объемистый сверток; в это же самое время Марфа вынесла Егору стакан водки и край пирога.

– За ваше здоровье, барышня! – сказал он, опорожняя стакан.

– В воскресенье, – сказала молодая девушка, – если можно будет, я приду навестить Арину.

– Она будет очень рада вас видеть... Моя жена, как и я, не забывает добра. Она и я помним все то, что сделали для нас вы и ваш отец, за которого я готов отдать свою душу. Знаете ли вы, барышня, что ваш батюшка составил мое счастье и спас мне жизнь?

– Нет, отец никогда не говорил мне этого.

– Он истинный христианин и не хвастает своим добрым делом, но я расскажу вам это... Или, быть может, вам недосуг, барышня?

– Нет, нет, расскажи – это очень интересно.

VIII

Рассказ Егора

– Вас еще не было тогда, барышня, на свете, – так начал рассказ свой Егор Никифоров. – Мой отец умер; он раньше служил у отца вашего батюшки и лишь в конце жизни сделался приискателем. Дела его были плохи, избушка развалилась, я остался одинок и занялся тоже отцовским делом. Неудачно было оно и у меня, с хлеба на квас перебивался, а молодость брала свое. Заполонила мне сердце черноглазая Арина, дочь бедной вдовы, жившей в мазанке, на самом краю поселка – этой мазанки теперь и следа не осталось – Арина-то была чуть не беднее меня... Как тут быть? Жениться – надо хоть избушку подновить да кое-

что по хозяйству справить... Горе, да и только. Хожу я как убитый. Раз встретился я с вашим батюшкой, он тогда только женился и с молодой женой жил здесь, в высоком доме. Он, зная стороной, проведал о моей любви к Арине и о моем горе.

«Что, Егор, – сказал он мне, – я слышал, ты хочешь жениться на Арине?»

«И рад бы в рай, да грехи не пускают», – сказал я ему и рассказал свое горе сиротское.

«Это дело поправить можно, – сказал он с улыбкой, – зайдем-ка ко мне».

Пошел я и ног под собою не чувствую, сердце щемит то страхом, то радостью. А он дорогой мне и говорит:

«Арина хорошая девушка, честная, работающая, твой и ее отец долго служили моему отцу, ты тоже славный парень, значит, тебе надо помочь жениться на Арине».

Пришли мы-то в дом, оставил меня он в этой самой кухне, а сам пошел к себе, да через минуту выносит мне три сотенных бумажки.

«На тебе, говорит, на свадьбу и на хозяйство».

Я окаменел от радости, гляжу на него во все глаза и ни глазам, ни ушам своим не верю. Слезы градом потекли из моих глаз, и упал я, как пласт, в ноги своему благодетелю.

Через две недели после этого мы сыграли свадьбу, я исправил избушку заново, купил лошадь и корову, бросил приискательство и занялся охотой. До сих пор я должен ему эти триста рублей, а он никогда и не напомнит, будто забыл.

– Да, конечно же, забыл! – улыбнулась Марья Петровна.

– Забыл, оно и есть, что забыл, потому, как вы родились, Арина пошла к вам в кормилицы, ее покойная ваша матушка, да и батюшка ваш уж как баловали, а как выкормила она вас – одарили по-княжески.

– Да это еще не все, – продолжал разглагольствовать Егор, которому Марья Петровна приказала поднести еще стаканчик, – что сделал для меня ваш батюшка, – раньше, как я уж говорил вам, он спас мне жизнь. Мне было лет восемнадцать, дело было в начале апреля, я хотел по льду Енисея на ту сторону перейти, а река-то уж посинела и вздулась – известно, молодечество – дошел я почти до половины, лед подо мной провалился, и я – бултых в воду. Батюшка ваш в то время на берегу был, мигом бросился к проруби, нырнул в нее и вытащил меня на поверхность. Но как вскарабкаться на лед? С каких сторон он ни пробовал – лед обламывается под тяжестью двух человек, и три раза я ускользал из его окоченевших рук, и три раза он снова ловил меня. Сбежались на берег рабочие с приисков – в то время уже пришла первая партия – бросили вашему батюшке длинную веревку с петлей на конце. Зацепил он петлю мне за пояс, вышел на лед один, а затем вытащил и меня. Только через час я пришел в себя и понял, что случилось. Тогда говорили, что я остался жив только каким-то чудом, и это чудо совершил ваш батюшка. Ему, значит, я обязан и жизнью.

– Я ничего об этом не знала! – сказала Марья Петровна, сильно тронутая рассказом Никифорова.

– Вы поймете теперь, милая барышня, как я люблю вашего батюшку, как я предан ему и какую я чувствую к нему благодарность в моем сердце. Я бы для него позволил разрубить себя на куски.

– Он, наверное, знает это.

– Пусть знает и не сомневается в Егоре Никифорове... Но я, кажется, надоел вам, барышня, своей болтовней.

– Напротив, все это очень интересно, и я с удовольствием тебя слушаю.

– Какая вы добрая, барышня! Если кто-нибудь должен быть счастливым в жизни, то, наверное, это вы.

Марья Петровна вздохнула.

Егор Никифоров встал, поднялся по ступенькам крыльца и поставил ружье в кухонных сенях и около него положил сверток.

– Прощенья просим, барышня, – вышел он из сеней, – время уже к вечеру, а мне надо еще сходить на мельницу, – не ближний свет, за мукой, я и ружье здесь оставлю, а то придется нести мешок на спине, так оно только помешает, а на обратном пути захвачу его. Пусть тут лежит и сверток.

– Нет, тогда я лучше сама занесу его Арине в воскресенье.

– Будь по вашему, милая барышня, до свидания. Я скажу Арине, что вы об ней подумали.

С этими словами он надел шапку и ушел со двора.

Марья Петровна вошла в сени, взяла сверток и вошла с ним в дом.

Время на самом деле близилось к вечеру. После вечернего чая молодая девушка ушла в свою комнату и там с нетерпением стала ожидать приближения ночи. Она чутко прислушивалась к движению в доме, дожидаясь, когда все уснут, чтобы незамеченной проскользнуть на свидание.

Черный большой платок, который она накидывала на себя, уже лежал приготовленный на стуле.

Молодая девушка потушила свечу, чтобы в доме подумали, что она уже легла спать.

В темной комнате продолжала она прислушиваться к голосам людей и к их движению в доме, но вот, мало-помалу, все смолкло. Часы пробили одиннадцать.

Час свидания настал.

Молодая девушка была убеждена, что все заснули в доме. Но она ошибалась. Двое людей бодрствовали и ждали этого часа, так же как и она...

Эти люди были ее отец и Иннокентий Антипович Гладких.

Марья Петровна закуталась в платок и осторожно выскользнула из своей комнаты. Тихо, чуть дыша, спустилась с лестницы, прошла через столовую в кухню, неслышно отодвинула засов двери и выскочила на задний двор.

Ночь была лунная. Как тень направилась она к садовой калитке и исчезла в саду, чтобы аллеей добраться до другой калитки, выходившей на берег Енисея.

Почти следом за ней выскочил из своего кабинета Петр Иннокентьевич и так же осторожно, как и она, прошел через несколько комнат в кухню. Если бы он посмотрел в эту минуту на себя в зеркало, он не узнал бы себя. Он был бледен, как мертвец.

Марья Петровна впопыхах забыла затворить за собою дверь, и лунный свет, падая в сени, осветил стоявшее в них ружье.

У Толстых мелькнула роковая мысль. Он схватил ружье и выбежал на двор.

У крыльца стоял Иннокентий Антипович.

– Петр, куда ты? – загородил он ему дорогу.

– Пусти меня, не твое дело!

– Нет, я тебя не пущу.

– Пусти, говорю тебе, прочь с дороги! – с пеной у рта, задыхающимся голосом прохрипел Толстых.

– Нет!

– Несчастный! – простонал Петр Иннокентьевич и с необычайной силой раздраженного до бешенства человека схватил своего друга за горло и отшвырнул в сторону.

Гладких ударился головой о заплот сада и упал без сознания.

Не обращая внимания на упавшего товарища детства, Толстых, как хищный зверь, бросился через калитку в сад и, замедлив шаги, пригнувшись к земле, точно ночной хищник, направился к той же калитке, куда за несколько минут прошла его дочь.

Кругом все было тихо. Ни один лист не колыхался на деревьях.

Петр Иннокентьевич слышал биение своего собственного сердца.

Несмотря на то, что в саду было довольно светло от лунного блеска, он не видел ничего: какие-то то зеленые, то кровавые круги сменялись в его глазах.

Он шел, замедляя шаги, как бы желая оттянуть время, когда он воочию убедится в падении своей дочери.

При малейшем шорохе, порой лишь казавшемся ему, он останавливался и вслушивался. Убедившись, что по близости нет никого, он продолжал путь.

Ему казалось, что то тут, то там он слышит тихий страстный шепот – это была игра его расстроенного воображения.

Наконец, он достиг до калитки, ведущей на берег реки, и вышел из сада.

Луна полускрылась за облаками, но Петр Иннокентьевич, казалось, обладал двойным зрением – он сразу заметил вдали на берегу две фигуры и узнал в них свою дочь и ее соблазнителя.

В глазах у него потемнело. Он упал ничком в траву и несколько минут пролежал недвижимо, затем, тихо поднявшись на руки, стал подползать к месту преступного свидания.

Уже до его чуткого уха долетал чуть слышный шепот влюбленных – это не была уже игра воображения; это была роковая действительность.

«Его дочь целовалась с посторонним мужчиной. Его дочь – любовница какого-то проходимца. Любовница – это несомненно», – мелькали страшные мысли в голове несчастного отца.

И он все полз и полз вперед и наконец очутился шагах в пяти от влюбленных.

Он впился жадным взглядом в ненавистные для него черты соблазнителя его дочери, он точно хотел поглатить его этим взглядом или на век запечатлеть его лицо и его фигуру в своей памяти.

Его дочь стояла к нему спиною.

Они говорили пониженным шепотом. Петр Иннокентьевич едва улавливал звуки.

Он хотел слышать их разговор, упиться своим позором, еще более убедиться в нем, хотя и теперь в его уме не было ни тени сомнения.

Он стал подползать к ним ближе. Вот он почти около них.

Он явственно слышит их слова, но едва ли понимает их. Увлекаясь, они даже повышают голоса и не подозревают, что они не одни, что поблизости есть роковой свидетель их преступной беседы, что мститель у них за спиной.

Петр Иннокентьевич как бы окаменел в своей позе в траве и весь обратился в слух.

IX

Свидание

Марья Петровна ранее своего отца как тень проскользнула в калитку и стала спускаться по берегу реки.

Она тотчас заметила стоявшую вдали темную фигуру мужчины, – это был Ильяшевич.

Быстрее лани бросилась она к нему и без слов упала в его объятия.

Их губы встретились. Это не был поцелуй в его банальном значении. Это был акт величайшего душевного экстаза. Это была печать духовного соединения двух любящих существ, составляющих одно целое.

– Радость моя!.. Когда я подумаю, какой опасности подвергаешься ты, доставляя мне эти минуты неизъяснимого блаженства, я упрекаю себя за эгоистическое пользование твоею добротой. Я нахожу, что недостойн твоей любви, которая для меня дороже жизни. Читая же в твоих чудных глазах ответное чувство, я мучаюсь, что заставляю тебя страдать и только... Ты должна считать меня бессердечным...

– Я люблю тебя!.. – воскликнула она вместо ответа с какой-то блаженной улыбкой.

– Ангел мой! – прошептал он. – Вместо того, чтобы жаловаться на свою судьбу, ты отвечаешь мне только словами безграничной любви. Чем заслужил я это? Ты, одна ты, как утренняя заря, осветила ночной мрак моей сиротской жизни... Ты мне показала небо, и я научился молиться Богу. Как ветер, который разгоняет облака, так и ты одним взглядом твоих чудных глаз рассеяла тучи, заволакивавшие мою будущность. В моем сердце жили ненависть и презрение к людям – ты поселила в нем любовь. Одна мысль о тебе заставляет меня видеть все в радужном свете. Все радости моей жизни начались с того момента, как я увидел тебя, полюбил и узнал, что ты тоже любишь меня... А что я тебе дал взамен? Ничего. Нет, хуже: заботы, горе, страх, позор...

– Боря, Боря, замолчи! Это неправда.

– Ты неизмеримо добра и конечно не хочешь с этим согласиться. Но смотри, ты и теперь вздрогнула, услышав какой-то шорох, и это я заставляю переносить тебя эти томительные минуты. Нет, именно я ничего не сделал тебе, кроме зла...

– А то, что ты любишь меня!

– О, что касается до этого, то я люблю тебя, люблю так, как едва ли кто в состоянии любить, и пока сердце мое бьется, оно будет принадлежать исключительно тебе. Но этого мало. Мой долг доставить тебе спокойствие, вернуть на твое прелестное личико улыбку. Дорогая Маня, ты несчастлива, а я хочу, чтобы ты была счастлива.

– Замолчи, говорю тебе, я совсем не так несчастна, как ты воображаешь. Моя вера в тебя так глубока, так безгранична, что я все перенесу с терпением и мужеством. Любовь моя к тебе так сильна, что никто и ничто на свете не может вырвать ее из моего сердца. Я думаю, что если бы наше счастье далось нам легче, мы меньше бы ценили его. Но несмотря на это, я должна тебе признаться, что эти дни я немножко побаивалась. Мой отец почти не говорил со мной, его взгляд иногда так суров... Он, видимо, чем-то взволнован, озабочен, мне кажется, что он догадывается...

– Это должно было случиться... Я предвидел и боялся этого... А я хочу сперва окончательно упрочить свое положение... Что я такое – сын поселенца. И хотя приобрел права образованием... нищий, когда я могу через несколько месяцев быть богачом. Теперь мой роман с тобой могут счесть – это и убивает меня – за ловлю с моей стороны богатой невесты, а тогда... другое дело. Теперь скажут, что я увлек тебя, опозорил тебя, чтобы не получить отказа... Я не могу перенести такую профанацию моего святого чувства... такое гнусное толкование роковой минуты увлечения... Я добуду себе положение и богатство...

– Умоляю тебя, спеши! Через несколько месяцев уже нельзя будет скрывать моего положения... Я мысленно буду сопутствовать тебе, это подкрепит тебя в достижении цели.

– Ты права, довольно медлить и откладывать... Ты не должна лгать – это противно твоей честной натуре. Я – подлец, поставивший тебя в такое отвратительное положение.

– Боря, не упрекай себя, что совершилось – совершилось во имя нашей любви. Я чувствую, что поступила бы точно так же и теперь и ни капли не раскаиваюсь. Но, скажи, ты решился завтра уехать, не правда ли?

– Конечно, потому-то я и хотел тебя видеть сегодня еще раз и поговорить с тобой перед отъездом.

– Поезжай, дорогой Боря, поезжай, мой муж перед Богом, и возвращайся скорее... Твоя Маня будет ждать тебя, будет ждать своего счастья, открытого, честного счастья.

– Менее чем через месяц я буду в Петербурге. Бумаги моего отца все уже мною собраны... В столице у меня есть люди, которые помогут мне... я надеюсь скоро добыть себе права дворянства и возвратить конфискованные имения, если не все, то хотя часть их, и тогда мое состояние будет почти равно состоянию твоего отца.

– Поезжай, Боря! – сказала она несколько взволнованным голосом. – Я с верой и надеждой буду дожидаться твоего возвращения, считая каждый час. О, пришли мне поскорее хорошую весточку. Но что бы ни случилось, достигнешь ли ты своей цели или нет, ты тотчас же напиши мне из Петербурга и напиши прямо и открыто. Мое решение твердо и непоколебимо, мы не будем более видеться тайно. Рано или поздно мой отец все равно должен будет узнать об этом. Я брошусь к его ногам и чистосердечно покаюсь ему во всем. Я знаю, что он более огорчится, нежели разгневается, хотя его гнев и будет страшен. Но так как от этого будет зависеть все наше счастье, я сумею найти слова, которые дойдут до его сердца и которые даже в его глазах послужат оправданием нашему проступку... Бог поможет мне в этом! А теперь, дорогой мой, расстанемся... Я пойду домой и буду молиться за тебя, чтобы милосердный Господь охранял тебя в твоём путешествии.

Он притянул ее к себе и они как бы замерли в прощальных объятиях.

– Ты для меня воздух, которым я дышу! – прошептал он страстным шепотом.

Послышался долгий страстный поцелуй.

Она, наконец, вырвалась из его объятий, отошла несколько шагов, затем снова вернулась, порывисто обвила его шею руками, горячо поцеловала и быстро, не оглядываясь, пошла назад по направлению к садовой калитке.

Он стоял и следил за ней влюбленными глазами, пока она не скрылась в саду, а затем пошел по берегу Енисея, по дороге к поселку.

Вдруг он остановился. Ему показалось, что перед ним промелькнула человеческая фигура и тоже остановилась.

Сердце Бориса Петровича сжалось.

– Что это? Я трушу... – устыдил он самого себя и смело продолжал путь.

Но не успел он сделать двух-трех шагов, как в ночной тишине раздался выстрел.

В ту же минуту молодой человек глухо вскрикнул и обеими руками схватился за грудь. Сделав несколько конвульсивных движений, как бы ища опоры, он упал навзничь и остался недвижим.

Марья Петровна услышала этот выстрел еще не успев войти в дом. Дрожь пробежала по ее телу и холодный пот выступил на лбу.

Она, впрочем, не знала, кто был роковой мишенью для этого выстрела, а выстрелы в тайге слышались часто.

Иннокентий Антипович тоже пришел в себя от этого выстрела и с трудом поднялся на ноги.

Он с отчаянием схватился за голову и прошептал:

– Это то, чего я боялся; напрасно я прилагал свои старания ослабить гнев Петра... Преступление совершилось... Теперь уже поздно, слишком поздно.

Он ломал себе руки.

– Петр, Петр... ты сделался убийцей.

Вдруг до его слуха донеслись тихие шаги.

«Это Мария!» – подумал он и притаился возле заплота.

Молодая девушка действительно прошла мимо него и вошла в дом. Он последовал за нею.

Чуть слышно прошла она по комнатам и поднялась к себе наверх.

Войдя в свою спальню, она сбросила с себя платок, упала на колени перед образом и начала горячо молиться.

Тем временем Гладких со страхом ожидал возвращения своего друга и хозяина.

Прошло минут десять.

Наконец послышались в саду быстрые тяжелые шаги, и в комнату вошел Толстых, бледный, как полотно. Его трясло как в лихорадке, а, между тем, пот градом падал с его лба. Волосы на висках были смочены, как после дождя. Он тяжело дышал с каким-то хрипом и едва держался на ногах.

Ружья с ним не было. Он машинально поставил его на прежнее место в сенях.

– Петр, несчастный, что сделал ты? – встретил его Иннокентий Антипович.

Толстых посмотрел на него каким-то диким взглядом.

– Что я сделал... это знаю я...

– Петр, может быть, милосердный Бог отвел твою руку от несчастной жертвы...

Мрачный огонь блестнул в глазах Петра Иннокентьевича.

– Нет... – угрюмо отвечал он. – Я целил ему в сердце, и он упал...

– Мертвый! – с отчаянием в голосе воскликнул Гладких.

– Мертвый! – хриплым голосом повторил Петр Иннокентьевич.

Иннокентий Антипович упал на стул и закрыл лицо руками.

– Он был вор... – продолжал как бы про себя Толстых. – Он украл честь моей дочери... мою честь... Я защищал свою собственность и... убил его. Что же тут такого?

– Убил... – опустив руки на колени, упавшим голосом прошептал Гладких.

– Да, убил... если тебе нравится так это слово... Повторяю, что же тут такого?..

– А суд, Петр? Разве ты не думаешь о суде?

– Для меня суд – я сам...

– Ты не в своем уме, Петр?

– Если я вижу на моем цветке, который я вырастил, букашку, я сбрасываю ее и давлю ногой. Если я вижу, что бешеная собака может броситься на мою дочь, я беру ружье и убиваю собаку. Это мой долг... Я исполнил его сегодня...

– Он не понимает, он не хочет понимать! – в отчаянии воскликнул Гладких. – Ведь то, что ты сделал – ужасно! Твое спокойствие пугает меня... – Несчастный, не видал ли кто тебя?

– Что мне за дело до всего этого!

– Твои ответы безумны! Я надеюсь, что тебя никто не видал в этот час... В доме все спят, также и в поселке. Но я заклинаю тебя, подумай о своем положении. Ты совершил страшное преступление, и если его откроют, то ты понесешь страшное наказание. Хотя бы ты двадцать раз приводил в свое оправдание, что ты защищал свою честь и честь своей дочери, тебе двадцать раз ответят, что ты не имел права самосуда... Но если тебя никто не видал, то никто тебя и не обвинит, если ты сам себя не выдашь... Если я не успел удержать твою руку, то теперь я должен думать, как бы спасти тебя. Нет, тебя обвинить не могут... Им нужны доказательства, улики, а их против тебя нет никаких.

Иннокентий Антипович замолчал.

Толстых молчал тоже. Он сидел за столом, положив голову на руки и как бы окаменел.

Вдруг Гладких встал. В глазах его, сделавшихся почти стеклянными, выразился страшный испуг. Он подошел к Петру Иннокентьевичу и, наклонившись к его

уху, сказал сдавленным шепотом:

– Петр, мне пришла в голову страшная мысль... Выслушай меня, ради всего святого! Если кто-нибудь еще знает о связи твоей дочери с этим молодым человеком, если кто-нибудь знал о их свиданиях, тогда мы пропали...

Петр Иннокентьевич с трудом поднял голову и окинул своего друга недоумевающе-вопросительным взглядом.

– Обо всем этом надо подумать! Часто неосторожно сказанное слово влечет за собою подозрения и тогда... конец... Они придут...

– Я буду их дожидаться...

– Но этого мало, ты должен подготовиться к защите...

Толстых снова поднял голову и горько улыбнулся...

– Но подумай только, Петр, полиция, тюрьма, суд...

– Так что ж, пусть меня осудят...

– А каторга... несчастный, каторга... нам более, чем другим, известны эти ужасы каторги... не той, которая на бумаге, а настоящей... скитальческой...

– Пусть каторга... пусть хотя смерть...

Гладких дико смотрел на своего друга.

– Смерть! – продолжал Петр Иннокентьевич. – Это избавление! Жизнь? Что заключается в ней? Как глупы люди, что так дорого ее ценят. Все бегут за этим блестящим призраком. Глупцы! Из золота они сделали себе Бога и поклоняются ему. Одного съедает самолюбие, другого – зависть. Всюду подлость, лесть и грязь! Все дурное торжествует над хорошим, порок и разврат одерживают победу над честью и добродетелью.

Он нервно захохотал.

– Какая несчастная эта жизнь. О, я хотел бы умереть... Я более не существую, у меня более ничего нет, я больше ни во что не верю.

Он уронил голову на сложенные на столе руки и зарыдал. Иннокентий Антипович не мешал ему выплакаться. Он понимал, что слезы облегчат его и, быть может, дадут другое направление его мыслям. Он лишь молча сел около своего друга.

Так просидели они до утренней зари.

Х

Перед смертью

Егор Никифоров из высокого дома отправился на мельницу, лежавшую верстах в четырех от заимки Толстых вниз по течению Енисея.

С мельником Егор Никифоров были приятели и не замедлили выпить по два стаканчика водки.

– Готова моя мука-то?

– Готова, Егор Никифорович, готова... – отвечал мельник, прожевывая кусок пирога, поданного им на закуску к водке.

– Так я захвачу ее с собою...

– Зачем, я завтра все равно повезу муку в высокий дом, а оттуда заверну к тебе, невеста как далеко оттуда.

– И то ладно, – согласился Егор Никифоров, у которого после выпитых стаканчиков в высоком доме и на мельнице как-то пропало расположение нести мешок с мукой и покидать своего приятеля.

Мельник и он опорожнили еще по стаканчику, затем еще, и уже наступил поздний вечер, когда Егор Никифоров выбрался с мельницы в чрезвычайно веселом расположении духа.

Затянув какую-то песню, слова которой были, кажется, непонятны даже самому исполнителю, он направился домой.

Идти приходилось мимо половинки, где его увидел сам хозяин Харитон Спиридонович Безымянных и пригласил зайти опрокинуть лампадочку, как игриво выражался этот оригинальный золотопромышленник.

Егор Никифоров был для Безымянных нужным человеком – он поставлял ему дичь, диких коз и медвежатину и поставлял за недорогую цену. За это он пользовался расположением хозяина и нередко даровыми угощениями.

Соблазн для Егора, если бы он даже не был навеселе, был велик, и Егор не устоял против него.

Вместо одной лампадочки, он опрокинул три и, уже сильно пошатываясь, направился в поселок.

Он шел по берегу Енисея мимо высокого дома. Вдруг ему послышались стоны.

Егор Никифоров был не из трусливых. Его занятие охотой много раз ставило его лицом к лицу с очевидной опасностью, и несколько раз он близко смотрел в глаза смерти. Все это развило в нем необыкновенное присутствие духа.

Услыхав стон, он пошел по тому направлению, откуда он слышался и увидел лежавшего на земле человека, употреблявшего все усилия подняться на ноги, но усилия эти оставались напрасны.

Егор Никифоров подошел к лежавшему, опустился перед ним на колени, приподнял его и посадил, прислонив к своему плечу.

Луна выплыла из облаков и осветила своим кротким сиянием эту картину.

Егор Никифоров только тогда заметил, что все платье незнакомого ему молодого человека в крови и что несчастного била сильная лихорадка. Егор Никифоров чувствовал, как дрожало все тело незнакомца и мог еле уловить его хриплый вздох.

Невдалеке от дороги, на берегу, был небольшой холм, поросший травой. Егор Никифоров осторожно перетащил к нему раненого и положил его.

Через несколько минут больной открыл глаза, горевшие лихорадочным огнем, и окинул Егора испуганным взглядом.

– Благодарю, благодарю! – прошептал он слабым голосом.

– Можете вы мне ответить на вопросы? – спросил раненого Егор Никифоров.

Несчастный кивнул головой.

– Кто вы, и что с вами случилось?

Раненый положил руку на грудь.

– Выстрел... – хриплым шепотом проговорил он, – тут... пуля...

– Убийство! – воскликнул Егор и быстро окинул взглядом вокруг, как бы ища убийцу поблизости.

Раненый тихо стонал.

– Здесь недалеко заимка... Я сейчас добежу туда, разбужу, и мы вас перенесем в высокий дом.

Несчастный быстро открыл глаза. В них изобразился ужас. Все тело его дрогнуло. Он даже приподнял голову.

– Нет! – воскликнул он громко. – Не уходите, останьтесь ради Бога. Впрочем, зачем! – прошептал он уже чуть слышно. – Всякая помощь излишня! Через

несколько минут, я это чувствую, меня уже не станет...

– Но нельзя же вас оставить умирать здесь, надо помочь вам... перевязать рану.

– Вы меня не можете спасти... Я ранен смертельно.

– Кем? Знаете вы?..

– Нет!

– О, я узнаю, кто убийца! – угрожающим тоном вскричал Егор Никифоров.

– Не доискивайтесь... Я не хочу, чтобы кого-нибудь обвинили... Скажите лучше, как вас зовут?

– Егор Никифоров...

– А, я знаю... мне говорила о вас Марья Петровна... Маня...

Лицо больного осветилось счастливой улыбкой.

– Как, вы знаете барышню Марью Петровну?

– Да... но тише... Не называйте ее по имени. Кто-нибудь может услышать. Ведь она хорошая? Не правда ли? Так же добра, как хороша собой. Она мне рассказывала про вас, про вашу жену Арину, про ребенка, который должен родиться... Она будет крестить его... Егор, любите ли вы ее?..

– Кого?.. Барышню?.. Да я готов за нее пожертвовать жизнью...

– Так окажите во имя ее мне последнюю услугу...

– Услугу?

– Да, и очень важную...

– Достаточно, что вы знаете барышню и просите меня сделать ради нее, чтобы я не решился отказать вам.

– Значит, вы согласны?

– Говорите...

– Вы знаете прииск Харитона Безымянных?

– Еще бы, да я сейчас оттуда.

– Знаете вы избушку, где помещается контора?

– Это которая же? Впрочем, я могу спросить об этом самого Харитона Спиридоновича...

Раненый сделал нетерпеливое движение.

– Вы, значит, не понимаете меня... Я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел вас там... Теперь там все спят... Я объясню... Изба эта стоит в стороне, за казармой рабочих, около нее растут еще три дерева...

– Знаю, знаю...

– Я живу в этой избе, – продолжал раненый, и голос его становился все слабее и слабее. – Здесь у меня, в кармане, два ключа; возьмите их.

Егор Никифоров вынул из кармана пальто раненого два ключа...

– Один, – продолжал тот, – от всячего замка, которым заперта изба, а другой от маленькой шкатулки, которая лежит под подушкой кровати... Поняли?..

– Понял!

– Вы возьмете эту шкатулку и отнесете ее Марье Петровне... Вы передадите ей с глазу на глаз, прямо в руки... Также отдадите и ключ... Это необходимо... С вами

есть спички?

– Да, я курю...

– Значит, вы можете себе посветить, но повторяю, чтобы никто не видел вас, это возбудит любопытство, и завтра утром вас потребуют к ответу. Вы будете принуждены рассказать все, и тогда над ней, над Маней, может стрястись страшная беда... Помните это и будьте немые, как могила... Но довольно... я чувствую, что умираю... Поклянись мне, что вы исполните просьбу умирающего.

– Клянусь! – торжественно произнес Егор Никифорович.

– Благодарю! Благодарю, друг мой, за это последнее утешение, но поклянись мне также, что все, что я говорил вам здесь, о чем просил вас, умрет вместе с вами...

– Клянусь! – повторил крестьянин.

– Егор Никифоров, не забуду...

Вдруг он захрипел и не окончил начатой фразы. Голова его скатилась с холма на сторону.

Егор Никифоров хотел поправить ему ее, но раненый молча отстранил его руку.

– Мне и так хорошо... оставьте... я больше не могу дышать... грудь давит... мысли путаются... я холодею... вот она... последняя минута.

Он чуть слышно шептал, но собравшись с последними силами, произнес:

– Не забывайте, что от этого зависит счастье Мани... А теперь... уходите...

– Но не могу же я вас оставить одного, беспомощного... – начал было Егор Никифоров, но раненый пришел в страшное волнение и почти вскрикнул:

– Я так хочу...

Это было последнее усилие. Глаза его закатились, судорога пробежала по его телу, он несколько раз вздрогнул и вытянулся.

Егор Никифоров с наклоненной головой присутствовал при этом страшном зрелище конца молодой жизни. Весь хмель еще ранее выскочил у него из головы.

Постояв несколько минут, он наклонился над неподвижно лежавшим незнакомцем, дотронулся до него и ощутил холод трупа. Он поднял его руку, она тяжело упала назад. Он приложил ухо к его сердцу – оно не билось. Перед ним лежал мертвец.

Егор Никифоров дико вскрикнул и отскочил от трупа. Затем он бросил вокруг себя недоумевающий взгляд, как бы соображая что-то, и быстрыми шагами отправился по направлению к половинке.

Был уже первый час ночи.

В четыре часа утра конюхи из высокого дома повели лошадей на водопой и увидели на берегу мертвое тело.

Весть об этом моментально облетела всю дворню, всех слуг высокого дома, всех рабочих приисков и жителей поселка, и они по несколько человек за раз отрывались от работы и бежали поглядеть на покойника. Никто не знал его. Явился староста поселка.

Кровь, которой была покрыта одежда мертвеца, уже засохла, так что было очевидно, что он был убит несколько часов тому назад. В нескольких шагах от трупа, на самой дороге, виднелось громадное кровавое пятно. Жертва, по-видимому, раньше лежала там.

На земле были ясно видны следы рук покойного, который, вероятно, старался привстать, из чего заключили, что смерть не была мгновенная.

Любопытные, приходившие на место, и староста решили, что покойный сам отошел в сторону от дороги и лег у холма.

По дороге, идущей к берегу, видны были следы ног, видимо, не убитого: сапоги были подбиты большими гвоздями, поступь тяжелая, так как следы были сильно вдавлены в землю. Они шли параллельно к труп и от трупа. Убийца, видимо, шел от половинки и снова возвратился по направлению к ней.

Староста поселка тотчас поехал к земскому заседателю, чтобы дать знать о случившемся.

XI

Дочь-обвинительница

Весть о найденном вблизи высокого дома трупе неизвестного молодого человека с самого раннего утра сделалась предметом горячих обсуждений между прислугой Толстых.

В особенности громко выражали свою тревогу по поводу случившегося женщины.

– Экие страсти какие, матушка! Тут как раз насупротив дома, на дороге... Укокошили злодеи, загубили христианскую душу! – причитала одна из служанок.

До Марьи Петровны, которая всю ночь не могла сомкнуть глаз и провела ее перед открытым окном своей комнаты, так как чувствовала, что задыхается от недостатка воздуха, вследствие внутреннего волнения от горечи разлуки с любимым человеком и тревоги за неизвестное будущее, долетели со двора шумные возгласы прислуги.

Она стала прислушиваться.

– Кто же убийца? – спрашивал визгливый голос, видимо, женский.

– Кто же может знать это... Лиходей, чай, не остался около покойника... Ищи его теперь, как ветра в поле... Может, Бог даст и сцапают – заседатель у нас ноне дотошный!.. – отвечал густой бас, принадлежащий мужчине.

– Кто же покойничек-то? Из здешних? – продолжал допытываться тот же женский голос.

– Нет, тут народу много его смотрели – не признали... Совсем чужой, а откуда он только здесь проявился, ума не приложат...

– Как же его убили?..

– Из ружья... так наповал и скосил изверг...

– И ограбил?

– Ну, само собой разумеется, не для удовольствия же станут убивать человека.

– Молодой?

– На вид лет двадцати пяти.

– Бедный, бедный!.. Не знает человек, где голову свою сложит! – заключил женский голос.

Со всех сторон слышались проклятия по адресу неизвестного убийцы.

Марья Петровна, сперва не понимавшая о каком убийстве говорят на дворе, вдруг вспомнила слышанный ею вчера при входе в сад со свидания выстрел, и для нее стало ясно все.

Это роковое открытие поразило ее, как молнией, и она как пласт скатилась со стула.

До Иннокентия Антиповича, находившегося в нижнем этаже дома, окна которого были открыты, тоже долетали крики прислуги, и когда он услышал наверху

падение чего-то тяжелого, он сразу сообразил, что это последствие рокового рассказа о ночном происшествии, который долетел до ушей Марии, и бросился наверх.

Он застал Марью Петровну лежащую без чувств, поднял ее и положил на кровать, стараясь водой и одеколоном привести в чувство.

Разговор на дворе прекратился.

Марья Петровна понемногу стала приходить в себя.

Из боязни, что молодая девушка начнет его расспрашивать и он в волнении может сказать ей что-нибудь лишнее, Гладких поспешил уйти из ее комнаты, спустился вниз и через кухню вышел во двор.

Первое, что бросилось ему в глаза – было стоявшее в углу кухонных сеней ружье, не принадлежавшее никому из живших в доме. Это его поразило.

«Чье это ружье?» – начал думать он и не мог дать себе на это ответа.

Он хотел было тотчас же расспросить прислугу, но удержался, помня данное им недавно наставление Петру Иннокентьевичу, что каждое сказанное теперь лишнее слово может повлечь за собой совершенно неожиданные роковые последствия.

Однако, мысль: «чье это ружье» свинцом засела в голове Гладких, направлявшегося в приисковую контору. Вдруг, как бы что вспомнив, он поспешно вернулся в дом.

Марья Петровна, между тем, окончательно пришла в себя и сначала с удивлением стала озираться по сторонам, но это продолжалось лишь несколько мгновений – она вдруг вспомнила все. Страшная действительность стала перед ней, как страшное привидение.

На ее смертельно-бледном лице выражалась боль, отчаяние, злоба и ненависть. Глаза ее оставались сухи и горели страшным огнем.

Она быстро вскочила с постели. Ее черная коса расплелась и волнистые волосы рассыпались по спине и плечам. Она судорожно стала приводить их в порядок, затем открыла шкаф, достала из него пальто и шляпу и начала одеваться.

Совершенно готовая к выходу, она направилась к двери, но последняя отворилась ранее, и на пороге появился Петр Иннокентьевич.

Марья Петровна не заметила его осунувшегося лица и поседевших волос, она думала лишь о совершенном им преступлении – что оно совершено именно им, она не сомневалась ни на минуту – и отступив на середину комнаты, со сверкающими глазами, протянула свою правую руку по направлению к стоявшему в дверях отцу, как бы защищаясь.

– Убийца! – крикнула она хриплым голосом.

Толстых не ожидал этого и отшатнулся, как пораженный, но через мгновение оправился и крикнул в свою очередь:

– Несчастная тварь!

Дочь, оставаясь в той же позе, повторяла:

– Убийца! Убийца!

– Несчастная! – в исступлении простонал Петр Иннокентьевич. – Этот человек был твой любовник! Он опозорил мою седую голову, и я отомстил ему...

– Да, да... он был мой любовник! – медленно, отчеканивая каждое слово, произнесла Марья Петровна.

– Бесстыдная! Ты мне смеешь говорить это в лицо...

– Я любила его...

– Негодяя?

– Я любила его! – повторила она. – Я любила его!

– Несчастная! Ты так низко пала, что хвастаешься своим позором!

– Ваше мщение, Петр Иннокентьевич, было бессмысленно, безобразно, несправедливо... – медленно заговорила она, сделав несколько шагов по направлению к стоящему у двери отцу. Да оно и не достигает цели... Я так же виновата, как и он... и буду любить вечно его одного, буду жить памятью о нем.

– О, не своди меня с ума!

– Так убей меня, убей и меня!

Толстых схватил стул и, подняв его, бросился на дочь. Произошла бы безобразная сцена, если бы подоспевший Гладких не схватил сзади его руку и не предупредил удара.

– Что ты делаешь, опомнись! – воскликнул Иннокентий Антипович.

– Ты прав! – сказал Петр Иннокентьевич, бросая на дочь взгляд, полный ненависти. – Об эту мразь не стоит марать рук. Она сумасшедшая!..

– Конечно, я сумасшедшая! – повторила Марья Петровна. – Я обезумела от горя и отчаяния.

– Петр, сжался над ней, ведь она – твоя дочь... – сказал Гладких.

– Эта гадина не дочь мне...

– Петр, после этой ужасной ночи и ты можешь быть безжалостен... Прости ее, помни, что и ты не прав.

Толстых поник головою. Невыносимое нравственное страдание отразилось на его лице. Видимо, его мысли боролись с смутившим его душу чувством.

– В память твоей матери, – после долгой паузы обратился он к дочери, – этой честной и уважаемой женщины и верной любящей жены, я сжалюсь над тобой... Слышишь, сжалюсь... Я не прощу тебя, но позволю тебе остаться в моем доме...

Марья Петровна дико захохотала.

– Вы, вы хотите сжалиться надо мной! – с горькой усмешкой начала она. – Да разве ваше сердце знает чувство жалости? И я разве просила вас о ней? Сжалиться надо мной! Да если бы вы и на самом деле вздумали надо мной сжалиться – я отказываюсь от вашей жалости... слышите... отказываюсь.

– Слышишь, что она говорит? – обратился Петр Иннокентьевич к Гладких. – Нет, она не помешана, она просто бесстыдна и подла... она погибла совершенно...

– А вы? – горячо возразила молодая девушка. – Не думаете ли вы, что поступаете честно, оставляя мне жизнь, после того, как разбили мое счастье? После того, как убили его? Вы это называете: сжалиться надо мной. А я нахожу, что вы поступили хуже всякого дикого зверя. Вы думаете, что я хочу жить... Зачем? Чтобы вечно плакать и проклинать свое существование! Вы открыли мою тайну, вы узнали, что я виновата перед вами, что я обманула вас, оскорбила... Это правда, и вы имели право потребовать от меня отчет в моих поступках. Вы обязаны были спросить меня, и я бы вам все рассказала. Ваш гнев был бы страшен, я знаю это, но вы мой отец и имели полное право меня наказать. Я бы перенесла всякое наказание покорно и безропотно. Но вы этого не сделали... Вы предпочли, поддавшись безмерной злобе, в темноте, подло, из-за угла убить. Вы избрали самое худшее мщение, вы избрали – преступление. Вы были правы, назвав меня сейчас погибшей... я действительно погибшая. У меня ничего не осталось в будущем, все надежды погибли, мне нечего больше желать, нечего ожидать, кроме смерти! А я могла бы быть так счастлива, так счастлива! Он любил меня... Он сделался бы вашим сыном!..

– Этот негодяй, обманувший тебя! – воскликнул Толстых.

– Это ложь... – спокойно сказала Марья Петровна.

– Зачем же он скрывался не только от меня, но вообще от людей?

– Ему надо было устроить свои дела, добыть себе положение, чтобы равным мне по состоянию явиться просить к вам моей руки, чтобы его не заподозрили, что он ловит богатую невесту...

– Ложь, ложь...

– Нет, правда... Он только что говорил мне это... Завтра он должен был уехать в Петербург... Несчастный не мог предчувствовать, что вы его подкарауливаете на дороге, чтобы убить.

Марья Петровна зарыдала.

– Не смей плакать... Твои слезы оскорбляют меня! – крикнул Толстых.

– Вы мне запрещаете плакать? – с сверкающими глазами начала снова она. – Но вырвите прежде мое сердце... Вы никогда больше не осушите моих слез... Я теперь буду жить лишь для того, чтобы оплакивать отца моего ребенка.

Это неожиданное признание было новым ударом грома для Петра Иннокентьевича.

Он дико вскрикнул и в бешеной злобе с поднятыми кулаками бросился на свою дочь.

Гладких кинулся между ними и снова успел вовремя остановить своего друга.

Марья Петровна не сделала ни малейшего движения, чтобы избежать удара. Это спокойствие имело вид вызова.

– Иннокентий! – простонал Толстых. – У меня больше нет дочери.

– Несчастная, – продолжал он, обратившись к Марье Петровне. – Ты отказалась сама от моего сожаления. Вон из моего дома. Вон, говорю тебе, и возьми себе на дорогу мое проклятие – я проклиная тебя...

Он с угрожающим жестом показал ей на дверь.

– Но это невозможно! – воскликнул Гладких. – Ты не смеешь выгонять свою родную дочь... Я не позволю тебе этого...

– Молчи! – задыхаясь от злобы, продолжал Толстых. – Я не хочу ее больше видеть... Я ее проклял... Пусть идет, куда хочет, и где хочет, скрывает свой позор...

Он в изнеможении упал в кресло.

Марья Петровна твердыми шагами пошла к двери. Иннокентий Антипович попытался было остановить ее.

– Нет, нет! – решительно сказала она. – Я ни одной минуты больше не останусь в этом доме.

– Но куда же пойдете вы?

– Я не знаю.

– Нет, вы не должны уходить... Петр, ради Бога, удержи ее... Петр Иннокентьевич не отвечал ни слова.

– Добрый Иннокентий Антипович, – сказала она, – не старайтесь меня останавливать... Это будет напрасно... Я все равно уйду... Я не могу жить под одним кровом с его убийцей...

С этими словами молодая девушка торопливо вышла из комнаты и стала спускаться вниз. Гладких хотел последовать за нею.

– Останься! – строго остановил его Толстых. Иннокентий Антипович молча повиновался. Наступило тяжелое молчание.

– Позволь мне вернуть ее, Петр! Сжался над ней, прости ее... – снова взмолился Гладких.

Петр Иннокентьевич не отвечал ничего, каким-то блуждающим, тревожным взглядом обводя комнату.

– Петр, что с тобой! Ты болен, ты страдаешь?..

– Я сам не знаю, что я чувствую, голова горит, я весь как разбитый, а тут в груди что-то тяжело, что-то рвет ее на части... В глазах туман... я вижу... вижу... кровь...

– Это – твоя совесть, Петр! – заметил Гладких.

XII

Ружье

Этот упадок сил и эта кровавая галлюцинация продолжались с Петром Иннокентьевичем лишь несколько минут. Он встал с кресла, спустился вниз и прошел в свой кабинет, куда за ним последовал и Иннокентий Антипович, решив не оставлять его одного, хотя бы ценою запущения дел в приисковой конторе.

Эта мысль пришла ему в голову, как помнит читатель, когда он вышел во двор, чтобы идти в контору.

«Дело не медведь – в лес не убежит!» – решил он и вернулся домой как раз ко времени, чтобы удержать руку разгневанного отца, готового стать дочереубийцей.

Петр Иннокентьевич не заметил шедшего по его пятам своего друга. Он сел к письменному столу, вынул револьвер и положил его перед собою.

– Что ты хочешь делать? – испуганно вскрикнул Гладких, кладя руку на плечо Петра Иннокентьевича.

– А, и ты здесь! – с горечью засмеялся последний и затем продолжал: – Я жду полицию! Не думаешь ли ты, что я позволю себя арестовать, как подлого убийцу, что я отдамся им живым. Я тебе сказал: «я сам свой судья». Полиция может прийти, но возьмет лишь мой труп.

– Но ведь еще никто ничего не знает! – воскликнул Иннокентий Антипович. – Никто еще тебя и не заподозрил.

– А эта подлая мразь, которую я прогнал, разве ты думаешь не пойдет доказывать?..

– Петр! Что ты говоришь! Даже думать это – бесчестно.

Толстых пожал плечами.

– Она поступила бы только справедливо, – глухим голосом сказал он. – Я убил ее любовника, и она бы отомстила!

– Петр! – уже с сердцем начал Иннокентий Антипович. – Это уже слишком, чересчур слишком! Ты без сожаления, как собаку, прогнал свою дочь из дому и теперь клеветешь на нее... Я знаю тебя за злого, злопамятного, горячего человека, за человека страшного в припадках своего бешенства, но теперь ты дошел до низости... Несмотря на мою преданность и любовь к тебе, я сегодня тебя не уважаю, не уважаю первый раз в жизни...

Гладких вышел из кабинета, сильно хлопнув дверью.

Огонь в глазах Толстых вдруг потух. Он взял со стола револьвер, бросил его в ящик стола и запер последний. Иннокентий Антипович на этот раз покори́л его.

Гладких, между тем, вышел в кухню, чтобы задним ходом пройти во двор, и в кухонных сенях столкнулся с Егором Никифоровым. Последний имел какой-то усталый, растрепанный вид.

– Откуда ты в такую рань? – спросил его Иннокентий Антипович.

– Мне бы повидать надобно Марью Петровну, от жены...

– Что? Значит, можно тебя поздравить...

– Нет еще... Тут так, одна просьба.

– Жаль, что ты не пришел пораньше...

– Я думал, что приду слишком рано... Я знаю, что барышня встает позднее...

– Обыкновенно, но сегодня она принуждена была выехать с рассветом.

– Выехать, – растерянно повторил Егор Никифоров, и его лицо выразило нескрываемое удивление. – Я вчера говорил с нею, и она мне ничего не сказала, напротив, в воскресенье хотела зайти к Арине.

– Это объясняется очень просто. Письмо, которое заставило ее уехать, пришло поздно вечером.

Егор Никифоров продолжал растерянно вертеть в руках свою шапку.

– А скоро она вернется?

– Через месяц.

– Значит, она далеко уехала?

– В Томск... Одна из ее подруг детства очень больна и просила ее приехать... Ты понимаешь, Егор, что нельзя отказать умирающей подруге. Петр Иннокентьевич сначала не соглашался, а потом отпустил ее, и она уехала.

– Если бы я это знал, если бы я знал, – бормотал Егор Никифоров.

– Что же тогда?

– Я бы пришел часом ранее, я мог бы так легко это сделать.

Он вспомнил, что пробродил всю ночь со шкатулкой покойного за пазухой, которую он благополучно, так, что никто не видал, добыл из указанной избу, которую запер на замок, и ключ бросил в поле. Он боялся, чтобы его жена не увидела его ношу и не стала бы допытываться, откуда он взял этот ларчик. Он мог проболтаться всему поселку.

– Тогда она была еще дома и ты ее увидел бы, а теперь... Это будет очень неприятно Арине...

– Еще бы... Но мне не могло даже прийти в голову, что я не застаю ее, я ведь не виноват...

– Разве то, что ты хотел передать, очень важно?

– Не знаю! – уклончиво отвечал Егор Никифоров. – Это их женское дело... Я, значит, теперь пойду, прощенья просим.

– Прощай, Егор!

– Ах, я, простофиля... Точно кто обухом у меня память отшиб. Чуть не забыл свое ружье.

– Что?! – испуганно воскликнул Иннокентий Антипович.

– Я вчера шел на мельницу, хотел взять оттуда мешок муки, так оставил здесь свое ружье, чтобы оно мне не мешало – вот оно стоит в углу.

Егор Никифоров взял из угла кухонных сеней свое ружье и перекинул его через плечо.

Гладких почувствовал, что вся кровь остановилась в его жилах и холодный пот выступил на его лбу.

Он теперь только понял, что Толстых убил Ильяшевича из ружья, принадлежавшего Егору Никифорову. Он задрожал от страха и прислонился к заплоту, чтобы не упасть.

К его счастью, Егор Никифоров еще раз сказал ему «прощенья просим» и ушел со двора.

Иннокентий Антипович отер пот со своего лба, вошел в кухню, выпил большой ковш воды и медленно отправился в приисковую контору.

– Боже мой! – говорил он сам себе дорогой. – Что же теперь будет? Егор заметит, что его ружье разряжено и, значит, кто-нибудь им пользовался. Он заподозрит, будет об этом говорить, наведет на след. Полиция придет сюда... Надо будет все это чем-нибудь объяснить... А он, он хочет покончить с собою! Что мне делать? Боже, вразуми, что мне делать!

Эти роковые думы прервал посланный из конторы рабочий, обратившийся к Иннокентию Антиповичу с каким-то деловым вопросом.

Петр Иннокентьевич по уходе Гладких взял большой лист бумаги и стал быстро писать.

Он писал род завещания. Мысль о необходимости самоубийства еще не совсем покинула его.

Егор Никифоров, между тем, направился к поселку и вскоре дошел до своей избы. С легкой руки Петра Иннокентьевича и благодаря своей жене Арине, он жил зажиточно и в избе было чисто и уютно. Изба состояла из трех комнат. Убранство ее было тоже, что у всех зажиточных крестьян. Те же беленые стены с видами Афонских гор и другими «божественными картинками», с портретами государя и государыни и других членов императорской фамилии, без которых немыслим ни один дом сибирского крестьянина, боготворящего своего царя-батюшку; та же старинная мебель, иногда даже красного дерева; диваны с деревянными лакированными спинками, небольшое простеночное зеркало в раме и неприменно старинный буфет со стеклами затейливого устройства, точно перевезенный из деревенского дома «старосветского» помещика и Бог весть какими судьбами попавший в далекие сибирские палестины.

Войдя к себе, Егор поставил ружье в угол, бросил шапку на диван и сел на первый попавшийся стул. Он не мог более от волнения и усталости стоять на ногах.

– Хорош, нечего сказать, – встретила его упреками жена, болезненная, но все еще красивая, рослая женщина, с большими голубыми глазами, одетая в ситцевое платье – в Сибири крестьянки почти не носят сарафанов, – ишь, шары[б - Глаза – местное выражение.] как налил, всю ночь пропьянствовал, винищем на версту разит.

– Ну, пошла, поехала! – махнул рукою Егор и, встав с места, направился в заднюю комнату, где стояла кровать.

– Посмотри-ка на себя в зеркало, как ты выглядишь, – продолжала она. – Твое платье, твоя борода и даже твои волосы – все в пыли...

– Этой дряни, я думаю, довольно по дороге! – остановился он, обернувшись к жене.

– Ты весь всклооченный, бледный, растерянный.

– Я очень устал...

– Вольно шляться без толку... Ничего и домой не принес.

– Я не охотился, – ответил Егор и рассказал жене, что выпив лишнее у мельника, на дороге почувствовал себя худо, прилег и заснул на вольном воздухе, а затем зашел в высокий дом взять вещи, которые предназначались Арине Марьей Петровной, но не застал ее, так как она совершенно неожиданно уехала в Томск к больной подруге.

– Ахти, беда какая! – воскликнула Арина.

– А все ты виноват, пьяница. Вот и прозевал нашу благодетельницу... Да что я тут с тобой прохлаждаюсь – мне недосуг, побегу на реку полоскать белье...

– А я прилягу и сосну, – заметил Егор.

– Ну и дрыхни, пьяница... Тебе одно дело – налить шары да дрыхнуть...

Егор Никифоров не отвечал ни слова, встал и пошел в заднюю комнату, где стояла постель.

Арина забрала узел белья и вышла из избы, сильно хлопнув дверью.

Егор Никифоров не думал ложиться.

Когда он услышал шум захлопнувшейся двери, то быстро вынул из-за пазухи небольшую плоскую деревянную шкатулочку, в которой, по словам убитого Ильяшевича, хранились бумаги, а в них заключалась тайна, открытие которой могло сильно повредить Марье Петровне Гладких.

Егор не мог передать шкатулку и ключ молодой девушке, так как она уехала. Он должен был спрятать ее в надежное сохранное место, чтобы ее не могла найти даже Арина, которая была очень любопытна.

В уме Егора возник вопрос: «Куда?»

После нескольких мыслей, от которых он отказывался по их непригодности, он остановился на мысли зарыть шкатулку под полом избы. Задумано – сделано.

Он вышел из избы во двор, подполз под дом, распугав бывших там птиц, и вырыв довольно глубокую яму около кирпичного низа печи, завернул шкатулку, на которую положил ключ в кусок кожи, купленной им для бродней, зарыл ее, притоптал землю и даже набросал на этом месте валявшиеся в подполье кирпичи.

Уверенный, что теперь никто не разыщет заветную шкатулку, он снова вошел в дом, не раздеваясь бросился в постель и заснул как убитый.

XIII

Сибирские «заседатели»

Село, где имел, как принято выражаться в Сибири, резиденцию «земский заседатель» и куда помчался староста поселка, лежавшего вблизи прииска Толстых, находилось верстах в тридцати от высокого дома.

Земский заседатель, или попросту «заседатель» – это сибирский чин, который равняется нашему становому приставу, с тою лишь разницей, что кроме чисто полицейских обязанностей, он исполняет обязанности мирового посредника и судебного следователя.

У каждого заседателя есть свой участок, на которые разделена каждая «округа», или по нашему уезд.

Заседатель участка, к которому принадлежал описываемый нами поселок, был только с год как назначен на это место и выказал себя с самой хорошей стороны по своей сметливости и распорядительности.

Это был человек лет тридцати, полный, высокий, блондин с приятным лицом, всегда чисто выбритым, и не только по наружному виду, но и по внутренним качествам, сильно выделялся между своими товарищами – старыми сибирскими служаками, или, как их звали, «юсами», тип которых, сохранившийся во всей его неприкосновенности почти до наших дней, всецело просился на бумагу, как живая иллюстрация к гоголевскому «Держиморде».

Они все были под судом по разным делам, что в Сибири не только в описываемое нами время, но и сравнительно недавнее, не считалось препятствием к продолжению службы, и эти «разные дела» большею частью сводились к тому, что они не только брали, – что в Сибири тогда не считалось даже проступком, – но брали «не по чину».

Нового заседателя звали Павел Сергеевич Хмелевский – он был сын ссыльного поляка.

Крестьяне участка не нахваливались им и дышали свободно под его управлением, и за ним осталось лестное прозвище «дотошный», как, если помнит читатель, охарактеризовал его один из слуг Толстых, выражая надежду, что заседатель откроет убийцу молодого человека.

Быть может, впрочем, это отношение крестьян к своему новому заседателю происходило оттого, что предместником его был, как говорили крестьяне, «кровопивец».

По крайней мере, при разговоре с местными обывателями о том, довольны ли они новым заседателем, они уклончиво отвечали:

– Не пригляделись еще мы к нему, да и он к нам! А после старого-то, впрочем, и волк за ягненка покажется, – добавляли они после некоторого раздумья.

– А что, разве лют был?

– Как зверь рыкающий по селеньям рыскал, кровопивец.

На замечание, отчего они не жаловались, обыватели рассказывали совершенно анекдотические были.

– Жаловались и не раз, да все на свою же голову. Доказать не могли, ну и выходил зверь-то наш лютый – овцою неповинною. Однажды, даже подвести надумали, да не удалось.

– Как подвести?

– Да так, взятку при свидетелях дать, а потом и к начальству.

– Что же, не взял?

– Какое не взял, вдвое взял, да только не взяткой это оказалось.

– Как так? – недоумевал слушатель.

– Да так, порешили мы миром – не в терпеж стали его тягости – дать ему пятьдесят рублей при свидетелях; тут одного из наших, парня оборотистого, застрельщиком послали. Приходит.

«Что надо?» – рявкнул «барин».

«Да так и так, ваше благородие, – начал он, – как вы завсегда наш благодетель, о нашем благе радетель и перед начальством заступник, то мир решил вас отблагодарить».

«Деньгами?»

«Так точно, ваше благородие».

«Что-ж, это хорошо!» – заметил «барин».

«Только, ваше благородие, решили, что-бы „епутацией“, в несколько человек поднести».

«Сколько народу?»

«Да окромя меня, еще трое».

«Гм! – крикнул заседатель. – Что-ж и это можно! Но вот тебе мой кошелек, – вытащил он его из кармана и, вынув перво-наперво находившиеся в кошельке деньги, передал кошелек парню. – Положи туда деньги и принеси, а они пусть войдут... Ничего!»

Положили это они в кошелек пять красненьких, да и айда опять к заседателю, уже вчетвером.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Телега с кожаным или рогожным верхом.

2

Халат из желтого сукна.

3

Род обуви из желтой кожи.

4

Жулик – местное выражение.

5

Приедками в Сибири называют закуски, состоящие из пирожков, рыбы и прочего.

6

Глаза – местное выражение.

Купить: https://tellnovel.com/geynce_nikolay/tayna-vysokogo-doma

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)